ОГОНЁК

№ 23 МАЙ 1990

ISSN 0131—0097



СИМВОЛ ВЕРЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОГОНЁК

Учрежден 1 апреля 1923 года

№ 23 (3281)

2 — 9 июня

ИЗДАТЕЛЬ — ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС «ПРАВДА»

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Суздаль. Рождественский собор (см. в номере материал «Бегство... за властью»).

Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Оформление Е. М. КАЗАКОВА при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА.
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОКАТА, ПОДПИСКИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫПУСКОВ «ОГОНЕК-ВИДЕО» ПО ТЕЛЕФОНУ 212-15-79.

Сдано в набор 14.05.90. Подписано к печати 29.05.90. А 00296. Формат 70×108⅛. Бумага для глубокой печати. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,00. Усл. кр.-отт. 17,50. Уч.-изд. л. 12,05. Тираж 4 600 000 экз. Заказ № 2308. Цена 40 копеек.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

Телефоны редакции: Для справок: 212-22-69; Отделы: Публицистики — 250-46-90; Внутренней политики и оперативного анализа — 212-15-39; Литературы — 212-63-69 и искусства — 212-22-19; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

Телефакс (095) 943-00-70
Телетайп 112349 «Огонек»

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

ПЕРЕМЕНА ДЕКО



Народный депутат СССР, академик Олег БОГОМОЛОВ о правительственной программе радикализации хозяйственной реформы

— Олег Тимофеевич, согласитесь, о поводе для нашей с вами беседы можно сказать так: наконец-то свершилось. Переход к рыночной экономике, о необходимости которого столько лет твердили едва ли не все прогрессивные экономисты, обществоведы и публицисты, провозглашен как правительственная программа. Казалось бы, ура? Но нет ликования в стане прогрессивных экономистов, обществоведов и публицистов. Почему-то во многих отзывах — и на сессии Верховного Совета, и в прессе — уныние, тревога, неприятие...

— Прежде всего у экономистов нет никакой уверенности в том, что действительно что-то свершилось. Что намечен конкретный, реальный, выполнимый план введения новых экономических отношений. Хотя, конечно, ряд положений правительственной программы находит понимание. Скажем, то, что правительство честно признает несостоятельность плана стабилизации экономики на 1990 год.

Честная констатация этого очень важна. Было много критиков и плана на 1990 год, и тем более правительственной программы оздоровления экономики, и хватило небольшого промежутка времени, чтобы и само правительство убедилось в их правоте.

Вообще мне в каком-то смысле сложно комментировать правительственные документы, потому что за последние два с половиной года не раз наряду с другими моими коллегами выступал на официальных совещаниях в присутствии руководителей страны, на заседаниях Президиума Совета Министров, в комитетах и комиссиях Верховного Совета с предложениями о том, как лечить опасно больную советскую экономику. Наиболее важным было предпоследнее заседание Президентского совета, где ряд экономистов высказали свое отношение к намерениям правительства. И нельзя сказать, что выявлялись какие-то большие расхождения в подходах наших экономистов. Все высказывались за скорейший переход к настоящему рынку, за то, чтобы превратить наши рубли в подлинные деньги, за свободу хозяйствования, за замену административного принуждения экономическим, за учет конкретного опыта других стран. Подчеркивали, что переход к рынку не означает обязательных жертв и потерь. Есть примеры, в том числе и Китая, когда введение рыночных отношений отнюдь не сопровождалось усилением кризиса и обнищания народа, а дало очень быстрый и мощный подъем.

Но все мы не были услышаны...

— Вот вы уже наполовину и ответили на мой следующий вопрос. На сессии Верховного Совета многие, даже неспециалисты, подмечают (и, представляется, справедливо) в изложенной концепции столь очевидные промахи, что возникает вопрос: какими же интеллектуальными силами создавалось это построение?

— В основном большой группой госплановских работников с привлечением ряда специалистов, но не ученых из Академии наук.

— Опять аппарат?

— Большей частью да. Причем прежде всего госплановский, который, по моему мнению, экономически некомпетентен. Нас всех очень беспокоит, что в Госплане, по существу, нет экономистов на высоких должностях. Экономическую работу там возглавля-

РАЦИЙ





Доклад Н. И. Рыжкова на третьей сессии Верховного Совета СССР. 24 мая 1990 г.

Фото Алексея ГОСТЕВА

Москва. 25—26 мая 1990 г.

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

ют инженеры, которые, конечно, приобрели какой-то опыт, но не обладают глубокими знаниями. Мы говорим с ними на разных языках. Наш язык, увы, непонятен правительству, Госплану. Но он оказывается понятным для коллег-экономистов и крупных политиков на Западе. У меня в последнее время были беседы с Жискар д'Эстеном, с Гельмутом Шмидтом, с Гринспеном — руководителем Федеральной резервной системы США. Я им излагал наши подходы к тому, как подступаться к рыночной экономике. Против чего-то они возражали, но в основном соглашались. Это реакция не только теоретиков, но и людей, которые на практике добивались успеха в перестройке хозяйственных систем. Видимо, и нашему руководству не стоило бы пренебрегать мнением и советами ведущих отечественных и западных специалистов.

— То, что вы сказали, проливает свет еще на одно наблюдение. Многие и простые читатели доклада премьер-министра, и, судя по откликам в газетах, ученые не увидели в нем почти ничего, кроме гарантии повышения цен. В предлагаемых мерах — говорят и пишут — не содержится зародыша рынка.

И впрямь: приблизило ли нас к нормальной экономике удорожание авиабилетов, если в стране по-прежнему остается один-единственный Аэрофлот?

— Вы тут самую сердцевину проблемы затронули. И о ней стоит поговорить подробнее.

Документ правительства четко не определяет, что понимать под регулируемым рынком как целью, которой следует достичь. Какими свойствами он должен обладать? Какие функции выполнять? Видимо, то, что подразумевает под рынком правительство,— это некий гибрид директивного плана и рынка. А может, мы имеем дело с попыткой восстановить квазирыночные отношения, которые у нас существовали в производстве и потреблении и которые мы за годы перестройки разрушили. Ведь все-таки рынок потребительских товаров существовал — ненастоящий, убогий, но хоть что-то на нем было.

Сегодня многие задают вопрос: как мы дошли до жизни такой? И часто дают на него ответ стереотипный и не очень правильный: мы, дескать, разрушили административно-командную систему, но не создали рыночную. Действительно, рынка мы не создали, это факт. Но что касается административно-командной системы, то ее лишь основательно встряхнули и пошатнули, и все. Госплан продолжает давать директивы, спускать госзаказы, Госснаб распределяет все произведенное в стране, министерства командуют, а партийные органы продолжают вмешиваться во все это.

И вот что меня сильно огорчает: никакого анализа процесса разрушения нашей экономики и выявления причин и виновников его в докладе правительства нет.

Программа лечения экономики путем суровых, непопулярных мер оправдана в устах правительства, которое приходит, чтобы спасти хозяйство, порушенное его предшественниками. Но она выглядит неубедительной и даже подозрительной, когда провозглашается теми, кто в основном и несет ответственность за его плачевное состояние.

— Здесь, мне кажется, уместно задаться таким вопросом. Не кажется ли вам, что кому-то очень хочется привести население в состояние крайнего недовольства и, может быть, воспользовавшись им, зажать народ столь желанной некоторым «сильной рукой»? Смотрите: когда, согласно опросам, у правительства был достаточно высокий авторитет в обществе и под него, наверное, можно было более или менее бесконфликтно провести «непопулярные меры», от предложений «рыночников» открещивались, как от крамолы, как от СПИДа. И, словно нарочно выбрав момент, когда рейтинг правительства упал с отметки 34 процента доверия (декабрь, 1989 г.) до 23 процентов (март, 1990 г.), вдруг начинают говорить о неизбежности повышения цен. В этой обстановке недоверия слова о компенсации потерь многими воспринимаются как уловка. Так что это: расчет или просто традиционное наше неумение работать плюс традиционное же пренебрежение мнениями и настроениями, как выражались большевики, «масс»?

— Видеть в этом сознательный расчет на то, чтобы вызвать недовольство и прибегнуть затем к жестким мерам,— это значит, по-моему, несколько искусственно интерпретировать события. (Хотя, может, у кого-то такие настроения и есть.) Отсутствие компетентности, растерянность, нервозность, которая сейчас проявляется в определенных кругах руководства,— это налицо. Но я все-таки здесь подчеркнул бы объективные условия. Экономика действительно находится на краю пропасти. И, по данным, скажем, западных экспертов, она сегодня в таком состоянии, когда достаточно одного небольшого толчка, какого-нибудь непредвиденного обстоятельства, чтобы наступил полный крах. Эта крайняя степень опасности заставляет искать выход. И система ищет выход применительно к своему собственному опыту, к своей практике и к своему мировоззрению. Бюрократическая система пытается решить проблему бюрократическими способами, защищая при этом в первую очередь свои интересы.

Что более всего толкает к так называемым фискальным методам преодоления трудностей, к стремлению обобрать народ? Это огромная дыра в бюджете — а ведь надо платить деньги аппарату, армии, служащим. Второе — желание хоть как-то поддержать мотивацию труда, рынок-то совсем разрушается, и хочется пусть какое-то подобие его сохранить.

То, что предлагается сегодня,— это, конечно, не рынок. Заметьте, как часто в своем докладе Н. И. Рыжков повторял применительно к нему слово «регулируемый». И ни разу не упомянул основные принципы рынка в его современном понимании. Это свобода распоряжения своим имуществом, продуктом, доходом от своего труда участников рынка, будь то индивидуум, коллектив и т. д. Если нет этой свободы — нет конкуренции, спроса-предложения настоящего, формирования на этой основе цен.

— К вопросу о ценах. Можно ли всерьез говорить о введении рынка, если премьер-министр заранее, загодя знает, что на нем сколько будет стоить? Скажем, руководители развитых стран Запада могут себе позволить лишь предполагать что-либо в этой сфере, очень осторожно прогнозировать...

— В том-то все и дело. Если у вас регулируемые цены, значит, вы сохраняете административное влияние и парализуете действие рыночных механизмов самонастройки и саморегулирования.

Далее. Настоящий рынок предусматривает широкий и почти всеохватывающий характер товаров, которые обращаются на нем. Югославские экономисты даже ввели такое понятие, как «плюрализм рынка», подразумевая при этом рынок товаров, рынок рабочей силы, рынок капиталов, рынок иностранной валюты. Это сфера, в нормальном обществе включающая в себя все. У нас же из рыночного оборота исключено самое главное имущество — земля, леса, недра, заводы, железные дороги и т. д. У нас они не имеют стоимости, им деньги не противостоят, вернее — они не противостоят деньгам. Медицинское обслуживание, образование — у нас все это тоже не рыночные категории. В результате на этой основе буйно расцветает подпольная, «теневая экономика» — она рыночная, но искаженная очень.

И, наконец, важнейший атрибут рынка — свободная конкуренция, ограничение монополизма. Об этом мы уже упоминали. Монополизм отрицает рынок, убивает его. Однако в правительственной программе даже не упомянуто намерение ликвидировать министерства. Наоборот, предусматривается почти стопроцентное административное регулирование сферы товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции посредством госзаказов, натуральных налогов. Оно, по существу, отменяет первооснову рынка — те свободы, о которых мы говорили, превращает рынок в квазирынок, или рыночную декорацию.

— Не правда ли, это сходно с провозглашением политического плюрализма при одновременных недюжинных усилиях сохранить однопартийную систему? А что касается рынка, то из чего все же он может возникнуть, если у нас предварительно утвердили пятилетку и распределили и раздали все имеющиеся фонды?

— Дело в том, что пятилетка опрокинута жизнью. И, собственно, предлагаемый план на 1991 год исходит уже из новых посылок, охватывая значительную часть производства, но не все, и выдавая задание в виде госзаказов или натуральных налогов, которые, по сути, есть не что иное, как оброк.

Но возвращусь к главному моменту ситуации: единственно ради имитации рынка (ибо никаких убедительных гарантий, что произойдет насыщение магазинов товарами, ликвидируются очереди и спекуляция, нет) нам всем предлагают смириться с двукратным повышением цен, потерей половины накоплений и понижением жизненного уровня населения в 1991—1992 годах, по моим расчетам, на 20—30 процентов, а может быть, и больше.

— И это при учете компенсации, которая закладывается в концепцию?

— Да. Мы в этом году будем иметь падение национального дохода, если считать честно, а не в традициях нашей статистики, не меньше чем на 5 процентов; что касается следующего года, то даже правительственная программа исходит из снижения нацдохода на 10—15 процентов. Сложив эти цифры, вы уже получите падение жизненного уровня на 20 процентов. Но ведь при этом еще хотят повысить цены. Контролируемые цены. А значит, неконтролируемые — в кооперативах, на крестьянских рынках, на индивидуальные услуги — подскочат еще выше. В результате в целом жизненный уровень понизится не меньше чем на одну треть.

Есть еще одна опасная сторона у правительственных предложений. Они встраивают в экономику механизм, порождающий дальнейшую инфляцию. Что означают на деле компенсация единовременных потерь и индексация доходов? Их предлагается выплачивать на предприятиях за счет их собственных возможностей. То есть дополнительные расходы скорее всего отнесут на себестоимость продукции, а в конечном счете на цены. Запустится инфляционная спираль.

Короче, цены повысятся, но в магазинах будет такая же ситуация, как сегодня. Правительство сделало выбор в пользу самого непродуктивного подхода к введению рынка, в пользу очень сомнительного сочетания административного, внеэкономического принуждения с рыночным саморегулированием: сначала много бюрократического контроля и чуть-чуть рынка, затем больше рынка — меньше командования. Я не знаю в мировом опыте ни одного воодушевляющего примера такого сочетания. Мы ведь уже пробовали такое; и поляки пробовали, и венгры — результатов не было ни у кого ни в изжитии дефицитов, ни в продвижении научно-технического прогресса.

— Но ведь с чего-то все равно надо начинать...

— Рынок бессмыслен без полноценных денег, которые свободно превращаются в любые нужные товары. Можно иметь ситуацию, как в Югославии: в конце прошлого года инфляция там достигала двух тысяч процентов в год, но при этом сохранялось изобилие товаров, а следовательно, и деньги не переставали оставаться деньгами. Но если деньги неполноценные, если они не могут быть превращены в товар, то они теряют смысл. Самое опасное при этом — подрыв мотивации к труду. Вместо нее — патриотические призывы укрепить дисциплину и т. п. А на деле: государство делает вид, что платит, работники делают вид, что работают.

Нам нужно изменить отношение людей к труду, чтобы они начали работать в полную свою возможность, другого источника спасения просто нет.

— Как вы в связи с этим прокомментируете обсуждаемый всюду новый Закон о налогах?

— Если платить пустыми деньгами, то в конечном счете людям не так уж важно, какой при этом взимается налог. Самая актуальная проблема — создание здоровой денежной системы. Без нее невозможно расширение производства, а без него нам не выбраться из пропасти. Других способов нет. Западных кредитов нам в ближайшее время больше не дадут, возможность собственных инвестиций у нас очень ограничена. Единственное, что возможно,— это за счет улучшения самого труда, его большей отдачи на тех же мощностях, на той же земле производить больше продукции. И это, как показывает опыт, реально. И арендные коллективы, и тем более фермерские хозяйства, когда земля своя, дают сплошь и рядом удвоение производства и производительности. То же самое и в промышленности. Это главный и сегодня единственный выход: для изменения отношения к труду надо создать материальный интерес.

А что правительство предлагает? Читаем: стержнем мотивационного механизма, говорится в документе, должно стать значительное возрастание для каждого работника ценности занимаемого рабочего места. То есть страх безработицы при нищенском и без того положении, а не материальный стимул, не возможность заработать больше и соответственно больше приобрести на рынке.

— Но ведь для того, чтобы возникла нормальная, человеческая и человечная, мотивация, все равно для начала где-то необходимо взять товар. Спрашивается, где?

— Я же сказал: произвести его на тех же мощностях, за счет изменения отношения людей к труду.

— Тогда мы попадаем в порочный круг.

— Да, чтобы создать мотивацию, материальный интерес, надо увеличить производство, а чтобы увеличить производство, нужен материальный интерес.

Правительство имеет выбор. Можно провести «шоковую терапию», как сделали в Польше. В Польше полностью освободили цены, они моментально очень поднялись, а потом наступило равновесие, возник рынок покупателя, где он задает тон, а не производитель. Рынок стал насыщенным, и деньги приобрели свое нормальное значение, злотый стал конвертируемым. Деньги превратились в стимул, инфляция — не знаю, правда, на сколь долго — прекратилась. Производство отреагировало пока на это, надо сказать, некоторым сокращением объемов.

— Этого пути как огня боятся и наше население, и руководство...

— И я думаю, что это для нас неприемлемо. У нас во многом другая ситуация. Жертвы могли быть принесены польским народом только потому, что он доверял своему новому правительству. И, кроме того, у польского населения не было таких огромных сумм денежных накоплений, обесценивающихся при «шоковой терапии». Ведь даже то, что предложило Советское правительство, как минимум уполовинит накопленное нашими людьми — они на свои средства смогут купить вдвое меньше товаров (если бы те, конечно, появились в продаже).

Каков же другой путь выхода из ситуации? Как разорвать заколдованный круг? Экономисты предлагают реальное решение. Мы ведь богатая страна. И если расширить сам рынок, включить в товарооборот то, что до сих пор в него не входило — землю, предприятия (акции), дома и квартиры, то можно какую-то часть денег связать, а может, потом и изъять из оборота. И таким образом избежать жесткого варианта реформы.

Конечно, здесь много проблем. Ведь у нас население неимущее. Люди лишены почти всего, что может называться имуществом и что может представлять серьезную гарантию их существования. Что мы имеем? Одежду, мебель... Квартира у большинства государственная. У некоторых есть автомобиль и дача. И то — дача, построенная на земле, которая вам не принадлежит и которую вам в любой момент могут приказать освободить.

Словом, выкупить предприятия неимущим людям невозможно. Есть и моральная сторона: почему так называемую общенародную собственность, которая, как много десятилетий втолковывали, и так наша, мы должны еще раз выкупать? Между тем правительство даже не ставит вопроса, что приватизация государственной, общенародной, или ничейной, собственности может происходить в каких-либо иных формах, кроме выкупа. Предлагают выкупать свои квартиры, акции предприятий, торговые точки и т. д. Выкупать — свое же!

Не порядочнее ли и не осуществимее ли другой путь, предлагаемый многими экономистами? Надо оценить все это имущество реально, по мировой стоимости, а не по «балансовой». (Если завод по природе своей убыточный, он может абсолютно ничего не стоить, хотя там много цехов, оборудования, но он построен глупо и не представляет никакой потребительной стоимости.) Значительная часть этого имущества, допустим, будет находиться в собственности государства. А остальную часть можно пропорционально разделить между населением, разделить не в натуре, а в стоимости, каждому дать сертификат — его долю. И тогда, если акции предприятий станут рыночным товаром, вы в любой момент сможете использовать свой сертификат, чтобы купить акции. Или чтобы приобрести дом (может, доплатив что-то). Или приобрести участок земли для дачи. Вы будете владельцем реального имущества. И в этом случае возможное повышение цен (а изменять их все равно придется) было бы более приемлемым, потому что тогда не обирали бы народ, а компенсировали его потери, причем не какими-то временными доплатами, а возвращая ему его же имущество.

Конечно, возникнет очень трудный вопрос: как распределить собственность? Но подходы именно к этим, наиболее сложным и существенным проблемам напрочь отсутствуют в программе правительства.

Возьмем те же квартиры. Конечно, не все их могут выкупить. Я думаю, их надо продать людям с низкими доходами за символические суммы, но продать! И возникнет рынок квартир. Старушка, у которой большая квартира и которой нужны деньги, продаст ее, купит себе маленькую и будет благополучно доживать свои годы, используя разницу в цене.

Вот так мало-помалу может начаться рынок, и деньги обретут соответствующий противовес в виде имущества. Конечно, к этому нужно будет добавить и повышение процентов на вклады, выпустить какие-то гарантированные займы... Некоторые экономисты предлагают выплачивать проценты по вкладам в свободно конвертируемой валюте. Это все условия для удержания денег.

Кроме этого (я не раз говорил на совещаниях у Н. И. Рыжкова и в других местах), необходимо привести в равновесие и рынок, обслуживаемый безналичными расчетами. Нам без конца твердят, что безналичные деньги перетекают в наличный оборот и это разрушает рынок. Но ведь не должно быть такой проблемы, коль скоро и те, и другие деньги обеспечены материальными ценностями, услугами.

То, что в природе вещей невозможны гибриды административного командования и рыночного саморегулирования, еще не означает, что при переходе к нормальной экономике неосуществима идея постепенности. Можно начинать с создания островов, или секторов, подлинно рыночного хозяйства внутри нерыночной экономики. Китайцы, например, так и сделали: взяли агропромышленный комплекс, эмансипировали в нем работника от полукрепостнической зависимости, ввели и свободу ценообразования, и отношения между производителями сельхозпродуктов и остальной экономикой (и государством) построили на основе рыночной торговли. И возник рыночный сектор — настоящий, где все определяют цены и который можно регулировать, используя кредиты, налоги и т. д. Многие экономисты предлагали и у нас с этого начинать. Однако у нас именно здесь самый жесткий контроль. Фермер, даже если он взял землю в пожизненную аренду с правом наследования, разве он будет стараться по-настоящему, если обречен получать за свою продукцию от государства — монопольного покупателя — фиксированную им же, покупателем, цену? Да еще будет и натуральный налог. Ему, к примеру, выгоднее выращивать фрукты, а его будут заставлять сеять зерно. Это все отношения не рыночные, полуфеодальные.

Предлагались и другие пути. Скажем, расширить обращение конвертируемой, западной валюты. Или создать свою еще одну, параллельную — конвертируемую — валюту. И таким образом опять же внутри нерыночной экономики постепенно создавать и расширять рыночный сектор. Так, как у нас же было в период нэпа. Конечно, любое решение надо предварительно продумать и взвесить. Но нельзя же вообще уходить от решений, загораживаясь ширмой рыночной видимости.

— А можно ли организовать какой-то рынок, сворачивая сферу посредничества? Я, в частности, вспоминаю войну наших профсоюзов, товарища Полозкова и других, многих союзных парламентариев с посредническими кооперативами. Складывается впечатление, что именно эта, самодеятельная ветвь нашей экономической мысли играет решающую роль в принятии, как сейчас модно говорить, судьбоносных решений.

— Современного рынка без посредников быть не может. Если посредниками будут выступать Госснаб и его органы, монопольная государственная система,— тоже никакого рынка не будет. Рынок невозможен без конкуренции и между производителями, и между торговцами — оптовыми, розничными.

Вообще ведь это глупость — иметь одинаковую цену на потребительский товар независимо от того, где он куплен. Если он продается в маленькой лавочке, в полуразвалюхе, где-то на окраине (лавочка эта ничего не стоит, земля на окраине дешевая),— это одно. И другое — когда вы покупаете в шикарном универсальном магазине, с кондиционированным воздухом, где есть все службы, где вы можете отдохнуть и зайти в кафе и получить покупку в совершенной упаковке и со множеством иных дополнительных услуг. Конечно, здесь цена может быть выше. Но когда установлена единая государственная цена без всяких колебаний — вы неизбежно лишаетесь всех таких возможностей нормального торгового обслуживания.

— Зато у нас вводятся понятия «простой товар» (повышение цен на него предполагается компенсировать доплатами) и «элитарный товар» (не предусматривается компенсация). Где, интересно, между ними проходит граница? Ну с автомобилем ясно — он при социализме не средство передвижения, а роскошь. А, скажем, мотоцикл? Подлежит компенсации или нет? Плащ — наверно, все-таки «простой товар». А зонтик?..

— Лично я это повышение цен рассматриваю прежде всего как фискальное мероприятие, способ изъятия излишков покупательной силы у населения, а не как нормализацию ценовых пропорций. А компенсация — это просто камуфляж, социальное прикрытие. Как различить товары деликатесные и обычные? Какая колбаса — деликатесная? Сейчас, наверное, уже и любительская. Или только копченая? Консервы — какие деликатесные, а какие — нет? Здесь огромный простор для произвола, для беспричинного взвинчивания цен. Товар первого спроса или не первого — это все очень условно. Если вы живете в сельской местности, где нет другого способа сообщения, автомобиль удовлетворяет первоочередную потребность жителя. Без него человек, заболев, просто не сможет попасть к врачу. Боюсь, что эта фискальная политика приведет к торжеству монопольных цен, акцизов не только на водку и табак, но, скажем, и на золото. А золото — это товар, который служит эталоном в определении ценовых пропорций. Если взвинтить цену на золото или, наоборот, его недооценить — тотчас начнутся ненормальности в обмене, в том числе международном, люди будут стараться выгадать, сыграть на несуразной цене и т. д.

По мне так: если действительно заботиться о людях в условиях рынка, следует прежде всего подумать о создании подлинных материальных интересов, стимулов к труду, к увеличению производства. Нужно думать о создании новых рабочих мест, что без настоящей приватизации едва ли удастся осуществить в значительных масштабах. Важно не просто гарантировать народу — вот, мол, вам такую-то компенсацию дадут (в конце концов эта компенсация почти ничего не будет стоить), а создать условия, возможности больше заработать. И пробудить желание, интерес заработать. Если он возникнет, на многих предприятиях будет повышаться производительность труда и появятся излишки рабочей силы. Нужно будет создавать новые рабочие места, кооперативы, частные предприятия. И посредническая деятельность, о которой вы говорили, она как раз и возникнет как очень необходимая. Тогда потеряет ругательное значение слово «спекулянт». Это нормальное торговое обслуживание: человек купил где-то, доставил вам и за услуги берет определенную плату. Спекуляция в наших диких, чудовищных формах возможна только на основе дефицита и при отсутствии рынка.

То, что в правительственной программе целиком и полностью обойдены вопросы приватизации, огромные резервы кооперативного сектора, задача создания новых рабочих мест, проблема развития производственной активности,— это тоже ее большие минусы.

— Предполагаю, что ваш ответ на предыдущий вопрос, особенно в части посреднической деятельности, вызовет недовольство многих радетелей чистоты «наших социалистических ценностей». Ведь рынок не просто торговля, но и идеология. Человек, не изживший большевистского подхода к частной собственности, не в состоянии быть полноценным субъектом рынка. Но, с другой стороны, не изменив экономических отношений, вряд ли возможно повернуть образ мыслей тех соотечественников, что безнадежно пробуксовывают на этом пункте, невольно отставая собственную и нашу общую нищету. Опять заколдованный круг?

— Действительно, в течение десятилетий у нас воспитывали людей в эгалитаристском духе, а рынок предполагает дифференциацию доходов, преуспеяние тех, у кого есть предпринимательская жилка, талант. В результате предпринимательства они становятся богатыми, но в конечном счете делают богаче и остальных, потому что от их деятельности растет производительность труда, растет производство.

Примириться с этим для многих сложно. Допустим, ваш сосед построил хороший и красивый дом. Какая реакция на это у английского крестьянина? У него, как правило, рождается стремление построить такой же. А для этого — улучшить свое хозяйство, добиться в нем бо́льших результатов. У нашего ничего не имеющего человека нередко возникает желание подожечь соседа, чтобы он не выделялся и все было «справедливо».

— Увы, и поджигают...

— Уход от такой идеологии — длительный процесс. И здесь многое зависит от властей, от верхов. Если вести кампании против тех, кто, используя рыночные отношения, старается путем предпринимательства и свой достаток увеличить, и развить производство, если натравливать на таких людей остальных, то мы, конечно, никогда не преуспеем в развитии рыночных отношений. В нас ведь почти совершенно вытравлены даже такие свойства, как бережливость, стремление накопить. Они должны воспитываться в людях — и в семье, и экономической обстановкой. Без этих качеств не может быть накоплений, без накоплений не может быть расширения производства.

— Пока что намерение правительства изменить экономическую реальность вызывает, можно сказать, типовую реакцию советского человека на любые беспокоящие воздействия — рост очередей в магазинах.

— Люди раскупают все подряд, потому что они не верят, что с их мнением будут считаться, не сомневаются, что обнародованная программа так или иначе будет нам навязана. Нужно быть идиотом, чтобы не запастись тем, что завтра будет стоить в два раза дороже. Не предвидеть таких отрицательных последствий — это значит проявить верх наивности. Я думаю, что остатки потребительского рынка будут разрушены, так что мы с вами и макарон не сможем нормально купить.

И, по-моему, совсем безрассудно ставить эти вопросы на референдум. Ответ заранее известен: народ не согласится с этим, не может согласиться. Что, правительство, после того как получит этот афронт, уйдет в отставку? Я думаю, доведя экономику до такого состояния, уже надо было бы людям с понятием чести в душе складывать с себя полномочия, сказать, что они не справились с обязанностями.

— Вы знаете, в последние год-полтора мне почему-то очень жалко Леонида Ивановича Абалкина.

— Мне тоже.

— Такой уважаемый экономист...

— К сожалению, он, видимо, не мог противостоять этому всему... А может, с чем-то он и стал соглашаться под влиянием среды, в которой находится. Этот план поэтапного перехода, который, по существу, был нынче доложен, возник в ноябре прошлого года. В нем главное — попытка совместить несовместимое, впрячь в одну упряжку вола и трепетную лань — административное принуждение и рыночное саморегулирование. Я с авторами плана всегда расходился и в вопросе, с чего начинать. Моя позиция: рыночные механизмы надо в первую очередь создавать в сельском хозяйстве. Их концепция — одновременно во всей экономике. Этот теоретический спор нынче уже переходит и на практику... А вообще-то единственный профессиональный экономист в нашем руководстве, видимо, не в силах справиться со стеной бюрократического противостояния.

— Думаю, можно выразить надежду, что в результате столь активного и довольно массового неприятия правительственной программы к ее совершенствованию будут вынуждены привлечь наших ведущих ученых-экономистов. У нас ведь их только среди народных депутатов немало...

— Да, но мы потеряли слишком много времени. Я думаю, его почти не осталось. Очень плохо, что эта программа готовилась в большой спешке. А ведь о том, как лечить нашу экономику, мы говорили еще два года назад...

Беседу вел
Александр ЩЕРБАКОВ.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА КПСС: УРОКИ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ



Вадим ПЕЧЕНЕВ

Из воспоминаний помощника бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС.

Многие из нас, наверное, с интересом смотрели телефильм, авторы и главные герои которого назвали его «Дети XX съезда» (имея в виду прежде всего самих себя). Я отдаю должное той смелости, с которой они причислили себя к «детям» именно этого, безусловно, исторического съезда, положившего начало нашему отходу от сталинизма. Символом этого отхода стал, как известно, секретный доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина.

Сам я, хотя мое политическое созревание падает прежде всего на этот период (во время XX съезда мне было неполных 16 лет), не рискнул бы назвать себя «дитем» именно XX съезда. Скорее (в политическом плане) я — законнорожденное «дитя» XXII съезда КПСС, на котором по инициативе того же Н. С. Хрущева была принята третья партийная Программа. Согласно этой Программе, в 1980 году мы, как известно, должны были в основном построить коммунизм. Но, как шутили впоследствии остряки, объявленный на этот год коммунизм был заменен московскими Олимпийскими играми.

У меня есть сейчас немало друзей (старше меня по возрасту), которые утверждают, что и тогда, в начале 60-х годов, они не верили в осуществимость хрущевской Программы развернутого строительства коммунизма в нашей стране. У меня нет оснований сомневаться в искренности их слов. Но что касается меня, то я, как и многие мои тогдашние друзья и коллеги — студенты МГУ, верил. Да и как было не верить? Нам было всего по двадцать. И уже в силу этого мы полагали, что за следующие 20 лет (ведь это целая жизнь!) коммунизм мы, конечно же, построим.

Собственно говоря, моя трудовая биография, начатая в 1962 году на кафедре марксизма-ленинизма в одном из ведущих провинциальных вузов, первые два года прошла именно под знаком пропаганды идей новой, третьей Программы КПСС. В жизненности этих идей я убеждал и своих студентов (моих, по сути, сверстников), да и себя, разумеется. В этом смысле я и говорю о себе как о «дитяти» XXII съезда, а также, если угодно, о своих особых, личных «счетах» с третьей Программой КПСС. Тем более что вера в ее реальность стала довольно быстро испаряться. Сначала потому, что начало «развернутого строительства коммунизма» в нашей южной (зерновой, кстати говоря) республике, где я тогда работал (как, впрочем, и во всей стране), совпало с очередным и основательным исчезновением с прилавков магазинов не только, скажем, мяса, но и белого хлеба. А потом, в октябре 1964 года, после смещения Н. С. Хрущева, началась тщательно управляемая кампания по разоблачению «субъективизма и волюнтаризма», что, естественно, не прибавляло авторитета и главному партийному документу этой эпохи.

Но это, так сказать, присказка. И нужна она была мне для того, чтобы заручиться предварительным, если так можно выразиться, читательским сочувствием или пониманием того не только чисто личного стремления, с которым я пошел на работу в аппарат ЦК КПСС в июле 1975 года после четырехлетней загранкомандировки. Оно состояло прежде всего в том, чтобы попытаться устранить из нашего основного партийного документа утопические прожекты о возможности при нынешнем социально-экономическом уровне развития СССР «развернутого строительства коммунизма» и, если удастся, внести свою лепту в создание иной, реалистической Программы КПСС. Вместе с этим стремлением я принес в аппарат ЦК КПСС (а затем и привнес, как говорят, в его работу), конечно, и много иллюзий, от которых с трудом потом избавлялся, а также немало различного рода утопически-догматических представлений о социализме, почерпнутых из книг, лекций и бесед с различными, несхожими друг с другом учителями, научными руководителями, старшими коллегами и товарищами.

Да, иллюзий у меня в то время было (и не могло не быть) предостаточно. Но одной иллюзии уже с середины 60-х годов у меня не было — иллюзии о возможности построения коммунизма в нашей стране в обозримом историческом будущем. И было ясно осознанное убеждение: чтобы ставить такой вопрос в практической плоскости, надо хотя бы «для начала» действительно построить социализм, соответствующий тому его идеалу, который можно увидеть в основополагающих трудах Маркса, Энгельса, Ленина.

Не стану утверждать, что я очень тщательно скрывал этот свой «коварный замысел», который в 60—70-е годы не особенно, мягко говоря, вписывался в научно-политические изыскания советской общественной науки. Любопытно, во всяком случае, что когда я где-то уже во второй половине 70-х годов предложил одному из руководителей (причем не из самого робкого, как говорится, десятка) Отдела пропаганды ЦК КПСС для его доклада несколько страничек текста, главная идея которого состояла лишь в том, что **концепция развитого социализма предостерегает от возможных преувеличений в определении степени приближения страны к коммунизму, вносит коррективы в сложившиеся ранее представления о длительности собственно социалистической фазы развития, о путях и сроках перерастания социализма в коммунизм,** то этот и сейчас уважаемый мною товарищ, не возражая против существа этого положения, без тени юмора задумчиво спросил: «А не придется ли мне, Вадим Алексеевич, после такого доклада сдать партбилет?» И хотя я заверял его, что вряд ли кто-нибудь сумеет обнаружить особый криминал в этих идеях, предложенный текст в доклад включен не был. К моему, кстати, удовлетворению, ибо эти странички (уже под своей, естественно, фамилией) я сделал основой введения к одной из книг, выпущенных Политиздатом массовым тиражом в 1979 году. «Вознагражден» был, конечно, за свою обычную осторожность и мой тогдашний руководитель, который и сейчас, несмотря на все зигзаги нашего идеологического развития, по-прежнему «направляет» его, правда, на другом, но не менее важном «участке». Впрочем, я отвлекся. И отвлекся не только для того, чтобы напомнить читателю о бытовавшей в то время атмосфере, но и затем, чтобы объяснить, почему я, несмотря на присущую мне политическую наивность, не очень сильно и афишировал свои «антипрограммные», «антикоммунистические» устремления.

Тем не менее это не спасло меня впоследствии (в 1985 году) от обвинений в том, что возглавлявшаяся мною рабочая группа по подготовке проекта но-

Продолжение на стр. 9.

СТ Л-Т МАКАРОВ В И
РЯД МОРЖОВ П Г
РЯД КОЗАРИН Н Д
РЯД НИКОЛАЕВ И Ф
С-НТ НИКОНОВ А Г
РЯД ОЛЕЙНИК Н Т
С-Т ПРУДНИКОВ В Б
КОМ ОТД ПЕТРАКОВ И Д
РЯД ПАСЬКО И С
РЯД ПОЛЯКОВ Г А
СТ С-НТ ПЕТЕРБАТОВ С А
РЯД ШИЛЯЕВ М Е
Л-Т РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
РЯД ФРОЛОВ И Д
ПОЛИТРУК ЛАПТЕВ П К
РЯД [illegible] Е Н



ДАЧИ У БРАТСКИХ МОГИЛ

Фото Марка ШТЕЙНБОКА

Девятого мая ветераны боев за Москву, жители подмосковного города, пионеры и члены семей воинов, погибших на этом клочке родной земли, традиционно направились к памятнику воинам на братской могиле и увидели уничтоженный памятник. Следы вандализма не были скрыты, обломки валялись на могиле.

Совершено это в последних числах апреля, с тех пор и лежит разбитый памятник. Он большой, тяжелый. Наш фотокорреспондент, прибывший сюда, с трудом сдвинул, чтобы попала в кадр, голову воина. В кадр попал и разломанный похоронный венок от памятника, на котором еще оставались слова: «Никто... ничто».

К нам в журнал приехало несколько делегаций из Наро-Фоминска.

Есть в людях вера в силу печатного слова. Но «Огонек» не был первой инстанцией. Еще до Девятого мая обращались в районную газету: надо что-то сделать, что-то исправить перед Девятым мая. Говорят, редактор районной газеты пообещал опубликовать соответствующую заметку. Этого не произошло.

Если бы люди, бросившиеся в Москву, несли с собой лозунги, на лозунгах было бы написано: «Генералы строят дачи на могилах».

В этом они были убеждены.

Основания были такие: неподалеку стучали топоры и строились дачи неизвестного военного дачного кооператива. Ради этого строительства к тому времени, когда совершилось надругательство над памятью, уже было вырублено около трех гектаров отличного, прекрасного, драгоценного леса.

Все видели, как вырубали этот лес.

А один человек видел, как солдаты, задействованные на строительстве, прямиком, через поруганную могилу, таскали к будущим дачам доски. Этот человек сам отыскался в тот день, когда фотокорреспондент «Огонька» делал съемку. И этот человек назвал себя, номер машины, с которой грузили доски; он рассказал, как подошел к главному военному, одетому в черную куртку, так что не было видно, генерал ли, подполковник ли, и сказал:

— Разве ради того, чтоб строить дачи, мы посылаем вам в армию служить наших сыновей?

И еще он попытался остановить передвижение молодых воинов с досками через братскую могилу. На что человек в черной куртке отвечал ему: не волнуйся, мол, отец, все так делают. Наверное, он имел в виду привлечение для строительства дачи молодых военнослужащих.

Но человек тот (он по профессии дорожный мастер, а зовут его Николай Семенович Тимоничев) не успокоился, пригрозил, что приведет сейчас фотографа, который «все заснимет», записал номер машины — ЗИЛ — 131-52-06 ТЖ. Впоследствии Николай Семенович узнал и звание, и фамилию военного руководителя. Эта фамилия и номер части, конечно, имеются в редакции.

Пятнадцатого мая на месте памятника некие лица установили подобие мемориальной доски, «чтобы успокоить гнев народа».

«Раньше здесь стояла оградка, арка кирпичная, все было ухожено, ежегодно перед Девятым мая наводился порядок, оградку красили, дорожку асфальтировали. Памятник был еще хороший. Правда, он уже требовал ремонта какого-то, реставрации...»

По словам Николая Семеновича Тимоничева, в этой могиле лежат полторы тысячи павших. «Здесь ведь были братские могилы по 55 — 60 человек. Из Головенек перенесли сюда две братские могилы, и было здесь захоронено 1274 плюс 178 человек. Я помню, я был комсомолец, мне было четырнадцать лет...»

Надо не забыть: при памятнике имелась, конечно, доска с именами некоторых погибших.

Кроме дорожного мастера Тимоничева, кстати, члена исполкома, а в прошлом и депутата, наш корреспондент беседовал с заместителем председателя сельсовета, председателем совета воинов-интернационалистов, местными жителями. После проведенного короткого расследования выясняется картина, перед которой прежняя, «Генералы строят дачи на братской могиле», бледнеет.

Каждый памятник в округе как бы отдан под шефство какой-нибудь организации. Зачастую организации воинской. Бывший памятник на братской могиле, где лежат полторы тысячи убиенных, также был «подшефен» дислоцированной здесь Кантемировской дивизии. Но другие люди подновляли оградку, привыкнув к этому труду с малых лет, как наш дорожный мастер Тимоничев. А дивизия шефствовала.

Памятник был установлен в шестидесятые годы. И вот подошло время его подновить. Тимоничев говорит: «И под предлогом реставрации его разрушили».

Нет, Николай Семенович! Памятник не просто разрушили. Был военный порыв, как выясняется, на уровне полковника: реставрировать! То есть сначала все расчистить... Рядом строительство дач. Для удобства доставки стройматериалов стали ходить напрямик. И затоптали могилу. Девятого пришли люди и обмерли. А через неделю кто-то спохватился и повесил щит о том, что, мол, ведется строительство нового памятника!

Ведется строительство. Какое знакомое слово! Ведется строительство — и замолкни.

Опубликованная в прошлом году статья «Налог с бороды...» («Огонек» № 44, 89 г.) вызвала большую читательскую почту. Получили мы и многостраничное письмо руководителей Всесоюзного агентства по авторским правам, уличающее авторов статьи Фокова и Суханова. Мы решили вернуться к затронутой теме. На вопросы корреспондента «Огонька» Леонида ПРУДОВСКОГО отвечают: Николай ЧЕТВЕРИКОВ, председатель правления ВААП, Маргарита ВОРОНКОВА, начальник договорно-правового управления ВААП, Владимир ТВЕРДОВСКИЙ, секретарь парткома ВААП, Александр ОЛЬШАНСКИЙ, член правления ВААП, начальник управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства.

ВААП ГЛАЗАМИ ВААП



Рисунок В. СЫСОЕВА

— Прежде всего мне хотелось бы принести извинения журнала «Огонек» за неточности в статье «Налог с бороды...», вызванные некоей «завесой тайны» над деятельностью ВААП.

Четвериков: Я хотел бы, в свою очередь, поблагодарить за объективный подход к оценке этой статьи. Думаю, объективность журнала снимет и недоумения, высказываемые в потоке писем, идущих в ВААП.

— Нам искренне хотелось бы разобраться в подлинных проблемах ВААП. Отсюда и первый вопрос: в уставе ВААП записано, что он является общественной организацией. Так ли это?

Воронкова: По уставу ВААП является общественной организацией. Так записано и в постановлении правительства № 588 от 1973 года о создании ВААП.

— А не забавная ли складывается ситуация: постановление № 588 Совета Министров СССР вышло 16 августа 1973 года, а 14 августа в постановлении № 574 СМ СССР уже предписывает не родившейся еще общественной организации, по каким правилам ей работать. А постановлением СМ СССР от 15 марта 1989 года ВААП прямо отнесли к отраслевым министерствам наряду, скажем, с Министерством угольной промышленности.

Четвериков: Я лично тоже остаюсь в недоумении относительно статуса агентства. Когда предусматривалось сокращение штата на 20 процентов, нас приравняли к союзному ведомству. Зато, когда рассматривалось повышение должностных окладов работникам министерств и ведомств, нам ответили однозначно: вы являетесь общественной организацией, и повышение окладов на вас не распространяется. Сегодня независимыми мы быть не можем: в прошлом году у нас была дотация 2,5 миллиона рублей, на этот год запланировано 2,1 миллиона рублей.

Воронкова: Думаю, что при создании ВААП была допущена ошибка, когда в качестве учредителей собрали и государственные, и общественные организации. В постановлении сказано, что, когда у агентства не будет хватать денег на выполнение своих функций, все дотации лягут на плечи учредителей. На деле же с первого года работы все учредители отказались дотировать ВААП, и это легло на плечи государства. Да и юридической или какой-либо другой заметной помощи мы от своих учредителей не видели и не видим.

— Правильно ли я понял, что государство поступает с вами, как с государственной организацией: сначала изымает все, а потом дает столько, сколько сочтет нужным?

Четвериков: Ваш вопрос сформулирован так, что уже содержит и ответ. Государство забирает у нас всю валюту и выплачивает за инвалютный рубль один рубль советский, хотя по официальному курсу он стоит десять рублей. Зато потом, когда мы покупаем у государства валюту для наших надобностей, нам тот же рубль продают за десять.

В прошлом году мы сдали в доход государства 8 миллионов инвалютных рублей, а нам их засчитали как 8 миллионов советских. Комиссия от 8 миллионов — 2 миллиона. Если бы нам их оставили в валюте, это составило бы 20 миллионов. Конечно, при таких условиях никакой дотации бы не потребовалось. У нас сейчас авторов значительно больше, чем членов творческих союзов, а отчисления, которые мы собираем в фонды союзов, берутся со всех. Таким образом, мы перечисляем в Литературный, Музыкальный и Журналистский фонды часть денег, по праву им не принадлежащих,— за счет авторов, не являющихся членами союзов.

Твердовский: Фонды, в которые мы собираем отчисления, носят, по сути, иждивенческий характер. За годы существования ВААП мы перечислили им около 100 миллионов рублей, но если учесть, что на каждый перечисленный рубль агентство затрачивает 33 копейки, чтобы его собрать, а получает от фондов 5 копеек...

Четвериков: Поэтому мы и поставили сейчас вопрос о создании института членства и хотели бы в дальнейшем отказаться от учредителей.

— Агентство занимается еще и покупкой прав у иностранных авторов.

Воронкова: Это тоже больной вопрос. По существующему сегодня положению государство рассматривает валюту, которая заработана нашими авторами, как средства для закупки прав иностранных авторов для использования в СССР.

Четвериков: Таким образом, эти средства идут на приобретение прав по импорту. Вот мы сейчас поставили вопрос о сокращении отчислений до 15 процентов. Значит, уже в этом году мы недополучим около 750 тысяч инвалютных рублей, а следовательно, на эту сумму не закупим за рубежом права на использование произведений литературы и искусства.

Тут вопрос стоит так: а почему наши авторы должны оплачивать приобретение прав за рубежом? Во всех цивилизованных странах искусство дотируется государством.

Ольшанский: А когда мы присоединимся к Бернской конвенции, импорт, несомненно, начнет обгонять экспорт. И никаких заработков наших авторов не хватит даже на самые выдающиеся произведения.

— Законом установлено, что ВААП взимает с держателей прав налоги в пользу государства. Поскольку налоги непомерно высоки, сейчас в агентстве видят фискальную организацию. Насколько общественной организации органична фискальная функция и насколько, на ваш взгляд, высокий налог способствует повышению сборов (в том числе и валютных) в государственную казну?

Четвериков: Я бы сказал, что фискальная функция прямо противопоказана общественной организации. И мы ставили неоднократно вопрос, чтобы нас от нее освободили. Но Минфин стоит на своем, и в нас видят грабителей. Но ведь независимо от того, кто будет взимать налог, сумма его не изменится. А сейчас он, на наш взгляд, непомерно высок: до 75 процентов с авторов и до 90 процентов с наследников. То есть бывают такие ситуации, когда авторам не хватает гонорара, чтобы покрыть налоги за предыдущие выплаты.

Мы поставили вопрос о снижении налогов до 35 процентов с авторов и до 60 процентов с наследников. Ни одно наше предложение принято не было. Мне кажется, что такие высокие налоговые ставки ущербны не только для авторов, но и для государства. Уже сейчас есть масса примеров, когда авторы, не желая платить высокие налоги, напрямую заключают соглашения с зарубежными партнерами и оставляют валюту за рубежом.

Воронкова: Правда, есть в новом проекте и хорошие стороны: если раньше мы начинали брать налог с первого же рубля — 30 процентов, то теперь автор, получающий до 700 рублей в месяц, будет платить налог 13 процентов, и только большие заработки подпадают под этот грабительский налог.

Ольшанский: Примерно 95 процентов наших авторов получают до 500 инвалютных рублей в год.

— Постановление, создавшее ВААП, объявляло все контракты, заключенные без его посредничества, незаконными и подлежащими расторжению. Таким образом, на агентство была возложена цензурная функция. В результате авторы, чьи произведения не укладывались в официозные рамки, были вынуждены самой системой уступать права на свои произведения зарубежным издателям. Все это привело к тому, что права на произведения многих наших авторов мы сейчас покупаем за валюту.

Не приведет ли новая налоговая политика к тому же результату? Ведь 4—5 процентов авторов, наиболее широко издающихся за рубежом, как правило, самые талантливые.

Четвериков: Если мы не создадим для наших авторов условия, которые заинтересовывали бы их работать именно с нами, то их произведения, несомненно, уйдут за рубеж. И они будут уступать западным издателям права на издание и распространение даже на территории СССР. Недавно мы приобрели для «Мосфильма» право на постановку произведения одного известного советского автора за 7 тысяч долларов. Это очень малая сумма, но, если так произойдет в массовых масштабах, у нас никакой валюты не хватит, чтобы даже свои выдающиеся произведения опубликовать.

Воронкова: Заключая договоры с западными издателями, наши авторы зачастую проявляют вопиющую юридическую неграмотность. Вот наш известный писатель Карпов, руководитель Союза писателей СССР, кстати, председатель Совета учредителей ВААП, тоже посчитал, что мы его грабим, и нашелся фирмач, подписавший с ним договор. Карпов гордо пришел к нам с этим договором и заявил: «Ваши налоги грабительские я платить не буду, так как я Герой Советского Союза, а отчисления вам тоже платить не буду, поскольку договор заключил без вас».

Мы просмотрели этот договор и ахнули: он не только уступил западному издателю все права, включая и территорию СССР, но и позволил ему переделывать книгу по своему разумению, причем все переделки шли за счет Карпова. Когда ему объяснили, какой кабальный договор он подписал, Карпов стал умолять нас вмешаться. Теперь он был готов платить комиссионные ВААП. Не без труда, но нам удалось исправить положение.

Адвокат на Западе стоит минимум 350 долларов в час только за консультацию, а если оказаться втянутым в серьезное судебное разбирательство, то это может стоить десятки, даже сотни тысяч долларов. И огромная заслуга нашего договорно-правового управления в том, что практически ни одного дела у нас не доходит до суда.

— Я слышал, что в Австрии семь лет работал представитель ВААП Мелик-Симонян и за все годы он заключил всего два контракта...

Ольшанский: Такое может быть. Это зависит от конъюнктуры. Вот по Италии за весь 84-й год у нас была реализована всего одна фотография. А сейчас с Италией десятки контрактов.

Твердовский: Мелик-Симонян работал не только на Австрию, но и на ФРГ. Не знаю, как с художественной литературой, но по науке и технике у нас заключалось множество контрактов.

— Скоро мы присоединимся к Бернской конвенции, и поток контрактов неизмеримо возрастет. Сможет ли ВААП юридически обеспечивать все контракты? Ведь по вашим предложениям вы будете сохранять монополию до конца 1992 года.

Воронкова: Если говорить о юридической стороне, то сейчас у нас три сотрудника просматривают все контракты. Это напряженная работа, но мы справляемся. Но ведь увеличение работы будет связано и с коммерческой стороной, а это огромная работа по подысканию партнеров, работа с партнерами, наблюдение за выполнением условий договоров. А сколько авторов не выполняют своих обязательств! Так что если с юридической стороной мы как-нибудь справимся, то во всем остальном...

Четвериков: Сегодня мы работаем на пределе. Я бы сказал, на пределе критическом, а если мы присоединимся к конвенции, то теперешним штатом явно не справимся.

— По вашим сведениям, сколькими писателями занимается средний литературный агент на Западе?

Воронкова: 10—20 максимум. И не каждого писателя он берет, а только такого, кто сулит доход или перспективу.

— А сколько авторов приходится на нашего агента, скажем, в Англии?

Четвериков: Все авторы.

Ольшанский: Десятки тысяч.

Четвериков: У нас подход бескорыстный. Мы всех авторов рассматриваем как равных, вне зависимости от меры таланта и коммерческой стороны. Вот раньше мы судили в зависимости от занимаемого положения. Считалось, что если писатель или композитор — секретарь союза, значит, он выдающийся писатель или композитор. И их активно продвигали. Не буду называть фамилии. Один очень известный автор, секретарь союза. Мне удалось буквально упросить зарубежного издателя издать его книгу. Очень сильно этот автор на нас давил. И вот недавно этот издатель приезжал и говорит, что за год ему удалось продать меньше 300 экземпляров, так что ему продажа книг не покроет даже расходов по изданию. Но зато мы «уважили» литературного начальника.

— Хорошо. Если взять весь штат ВААП вместе с уборщицами, сколько авторов придется на одного сотрудника?

Четвериков: Пожалуй, на порядок больше, чем за рубежом.

— То есть, если говорить всерьез, такой квалифицированной проработки, как на Западе, мы пока осуществить не в состоянии?

Ольшанский: Конечно, нет. Хотя на каждого представителя за рубежом, по существу, работает все агентство.

Воронкова: Если агентство будет оставаться монополистом, то, конечно, всегда будут находиться недовольные, считающие, что мы плохо с ними работаем.

— Мне бы хотелось вернуться к юридическому обеспечению. Можно представить, что автор или ВААП окажутся втянутыми за рубежом в серьезную юридическую тяжбу. В состоянии ли ВААП при сегодняшнем положении с валютой такой процесс вести?

Воронкова: Мы сейчас один такой процесс ведем и вынуждены были внести в качестве залоговой суммы в английский суд 25 тысяч фунтов стерлингов. Это деньги агентства, а не авторов. Но если подобных процессов было бы много, а их может стать много, мы, конечно, не сможем их вести.

— Общеизвестно, что литературный или музыкальный агент на Западе всегда стремится получить для своего автора максимально большой аванс, чтобы поставить издателя в положение, когда он вынужден рекламировать и продвигать произведение, дабы вернуть свои деньги. Авансы же, которые получают наши авторы, по западным меркам чисто символические — половина или треть месячной зарплаты рабочего. Заинтересован ли издатель в продвижении такого произведения, где его коммерческий риск сведен к нулю?

Четвериков: Во-первых, издатель платит большой аванс только хорошо известному, коммерчески выгодному автору. Основные деньги, которые получает автор,— это не аванс, а так называемые роялти, то есть проценты с каждой проданной книги. И здесь от аванса ничего не зависит. Если книга пошла хорошо, то автор получит все роялти до копейки за вычетом аванса. Я не знаю ни одного западного издателя, который не был бы заинтересован, чтобы книга, изданная им, пошла хорошо.

Твердовский: Конечно, хотелось бы, чтобы наши авторы достигли такого уровня, как Апдайк, и получали бы полтора миллиона аванса...

Воронкова: Мы, исходя из интересов автора, даже советуем им раздробить получение аванса на несколько лет, чтобы меньше платить налогов.

Четвериков: Здесь надо учитывать, что на западном рынке права на произведения советских авторов находятся на чрезвычайно низком уровне.

— С чем это связано?

Ольшанский: Этому есть исторические объяснения: многие организации, которые занимались продвижением нашей литературы, главное значение придавали не качеству самого произведения, а идеологической функции, то есть показушной. И коммерческая сторона здесь вообще не принималась в расчет.

Твердовский: Имеются в виду «Прогресс», «Радуга»...

Воронкова: «Международная книга», Госконцерт, практически все шло в убыток. На Западе эти произведения мало кого интересовали, но нам предписывалось именно их продвигать.

Четвериков: Меня смущает стремление авторов самим выйти на западный рынок, ведь они не обладают тем объемом коммерческой и конъюнктурной информации, каким располагаем мы, и будут плавать как щепка в океане. Они ведь не знают, что есть другой партнер, готовый купить права дороже. Вот пример по Италии. Один наш уважаемый автор, будучи в Италии, продал право на издание своих произведений. Через несколько месяцев тоже в Италии ему предложили бо́льшую сумму, и он подписал договор на фактически уже не принадлежащие ему права. Первый издатель, узнав об этом, поднял большой шум. В итоге нам пришлось заплатить неустойку около 10 тысяч долларов.

Сейчас у нас прорабатываются проекты создания коллективных литературных агентств при ВААП.

— Но реально ли это? Есть ли необходимое количество специалистов?

Воронкова: В принципе реально. Если мы откажемся от представительства всех на свете, чтобы каждый агент сам подбирал себе авторов, с которыми он хочет работать.

Четвериков: Но, поскольку они будут пользоваться информацией всего агентства, они будут заключать с ВААП соглашение сродни подрядному. То есть будут платить нам отчисления за пользование банком данных, за консультацию и т. д. А в остальном они будут полностью независимы. Но это в том случае, если государство перестанет отбирать у нас все деньги.

Воронкова: То есть внутри ВААП возникнет конкуренция и будет идти борьба за авторов, а значит, и снижаться процент комиссионных. Мы готовы оказывать такие услуги и агентам на стороне, но, естественно, им будет трудно конкурировать с нами.

Ольшанский: Конечно, все будет делаться на коммерческой основе. А то сейчас прямо до анекдотов доходит. Звонят нам авторы и говорят: «Мы с вами работать не хотим, но дайте нам адреса и списки всех, кто нас издает, и вообще всю коммерческую информацию».

Четвериков: И мы даем. Мы сегодня на зарплате и госдотации, поэтому даем. А вот если мы будем работать на коммерческой основе, тогда тоже будем давать, но на определенных условиях. Я бы вот на что обратил внимание: если будет много независимых конкурентов, то этим станут широко пользоваться наши зарубежные контрагенты. Они начнут эту конкуренцию выгодно для себя использовать, и здесь мне представляется все же идеальным контроль одной организации с конкуренцией внутри нее.

Твердовский: Есть еще одна опасность: любое крупное зарубежное издательство может спокойно купить такого независимого агента, и он будет работать уже на издательство, а не на автора.

— Давайте затронем еще одну тему. В «Литературной России» была опубликована статья Ольшанского «Добрый сказочник и «кошмарная» действительность». У меня вот такой вопрос: сколько стоит реклама книги на Западе?

Ольшанский: Очень дорого. Десятки и даже сотни тысяч долларов. Это реклама на читателей. Мы же, к сожалению, делаем рекламу на издателей.

Воронкова: Почему к сожалению? Наше положение таково, что мы рассчитываем рекламу на издателей.

Твердовский: Каждый издатель выпускает два вида рекламы. Вот каталоги. Это тоже реклама, которой должен заниматься агент. Мы, советские агенты, должны делать рекламу в расчете на своего потребителя. То есть на издателя.

Ольшанский: Смотрите, вот большое издательство, скажем, «Мондадори». У них свое телевидение, два десятка журналов, газета, и там они дают рекламу. Мы же не можем выйти на читателя просто физически.

— В своей статье, Александр Андреевич, вы не без гордости сообщаете, что на рекламу произведений Э. Успенского за 10 лет в 46 издательствах 17 стран было израсходовано 10 845 рублей. Получается около 236 рублей на издательство, или 638 рублей на страну. А если еще разделить на 10 лет? Отсюда и вопрос: при тех средствах, которыми располагает ВААП, способно ли агентство провести полноценную рекламу, пусть даже не на читателя, а лишь на издателя?

Твердовский: Средства, конечно, ограничены.

Четвериков: Мы делаем все возможное в пределах наших скудных средств, и все зависит от совести издателей, с которыми мы имеем дело. Издатель, приобретя права на книги того же Э. Успенского, очень хорошего детского писателя, конечно же, заинтересован, чтобы эти книги разошлись как можно шире.

— В той же статье приведены и суммы авторского вознаграждения, которые Успенский получил за 14 лет,— 40 896 рублей. Может быть, кому-то эти гонорары покажутся высокими, но мы знаем, что писатель класса Успенского получает на Западе в десятки, а то и сотни раз больше.

Воронкова: Благодаря политике, которая проводилась много десятилетий, известность советских писателей за рубежом находится на очень невысоком уровне. В том числе и уважаемого Эдуарда Успенского.

Твердовский: Мы ведь не в состоянии рекламировать одну какую-нибудь книгу. Но мы везем на выставки и ярмарки 50—70 книг. Сами устраиваем тематические выставки. Это ведь тоже реклама.

Четвериков: Вот приезжал крупный американский издатель. И в числе детских авторов мы ему назвали Успенского. А ведь Успенский отказался с нами работать. Разве западный агент так поступил бы? Даже с точки зрения коммерческой услуга это или не услуга? Но, конечно, рекламировать его по нашей линии мы прекратили. И что он от этого выиграл?

— Наверное, об этом надо спросить у него. Но ведь есть и другие авторы, не желающие пользоваться услугами ВААП. Например, Сергей Каледин, Татьяна Толстая...

Твердовский: Это было до публикации в «Огоньке». После вашей публикации Толстая снова хочет иметь с нами дело.

Четвериков: Когда мы откажемся от учредителей и перейдем к членству, тогда мы свои услуги будем предлагать комплексно. Пока все отказы только на зарубежную деятельность, а внутри страны еще никто от наших услуг не отказался. Только ВААП в состоянии собрать авторские отчисления с 20 тысяч театрально-зрелищных организаций по всей стране. И мы тогда поставим вопрос так: хочешь быть членом ВААП — передавай нам для ведения все свои дела и в стране, и за рубежом. И никак иначе.

— Николай Николаевич, в своих статьях и интервью вы сообщаете, что ВААП принимал участие в разработке новых ставок авторского гонорара. В них идет перечисление ставок за тиражирование пластинок, кассет и т. д., и за каждую копию автор получает до 16 копеек. Но туда же включены и видеокассеты. Все мы знаем, что если тиражи пластинок измеряются миллионами экземпляров, то тираж видеокассеты — сотней-другой. Значит, за весь тираж, скажем, фильма автор получит 16 рублей.

Воронкова: Мы действительно принимали участие в подготовке этого текста, но вопрос о видеокассетах вообще не поднимался. А на последнем этапе Госкомтруд, уже в Совмине, без нашего ведома вставил туда видеокассеты. Поскольку это очевидная глупость, ставки не действуют. Никто по этим ставкам гонорара не платит.

— Как же сейчас взимаются потиражные с видеокассет?

Воронкова: Никак. С января 1989 года Госкино ввело правило, согласно которому студии перечисляется 5 процентов от стоимости фильма, а студия должна эти 5 процентов распределить. Но и эти 5 процентов пока никому не выплачены, и мы сейчас ведем 11 судебных дел с ВПТО «Видеофильм» и Госкино, требуя заплатить гонорар авторам фильмов, переведенных на кассеты.

— И напоследок маленькое уточнение. В своих предложениях о совершенствовании работы ВААП вы внесли такой пункт: «ВААП вправе давать советским авторам разрешение на получение валюты за рубежом». Вправе давать, но вправе и не давать?

Воронкова: Сейчас мы не вправе давать разрешение. Но если наши предложения будут приняты, мы такое разрешение будем давать. Наверное, формулировку надо уточнить.

— Благодарю за поучительную беседу. «Огонек», думаю, вернется еще раз к затронутым в нашем разговоре проблемам, предоставив слово тем, чьих интересов непосредственно касается деятельность Агентства по авторским правам.

РЭКЕТ ПО-ВААПОВСКИ

Послесловие к интервью

ВААП — монополист. Это главная черта, определяющая его лицо, характер деятельности и ее эффективность. Есть три сферы, где действует такая монополия. Первая — где помощь автору действительно нужна. Но оказывать ее удобнее, не считаясь с его «капризами», а если точно — с его волей и достоинством. Скажем, при сборе вознаграждения за исполнение произведения в спектаклях, концертах. При использовании произведений изобразительного искусства в промышленности. Вторая сфера — это сбор налогов. Например, при выплате вознаграждения наследникам. Наконец, третья,— ей придается особое значение,— посредничество при использовании произведений советских авторов за границей и иностранных — в СССР. К этим трем сферам сводится, по существу, вся деятельность ВААП. Автор (или наследник) не может поручить работу кому-то другому, кроме ВААП.

Эти сферы монопольной деятельности составляют практически единственный источник «хозрасчетных» поступлений ВААП. Кстати, образующихся за счет автора. Еще один источник — отчисления от сборов в пользу некоторых творческих союзов. И тут ВААП действует монопольно.

А раз есть монополия... автор, хочешь не хочешь,— плати. Притом на силовой основе. Деньги за «услуги» не то что выплачиваются — принудительно изымаются. Чем не своеобразный рэкет? И ведь при этих условиях можно получать деньги буквально ни за что, лишь обозначив деятельность без ее осуществления. Скажем, иностранный издатель сам нашел автора. ВААП не оказывал никаких посреднических услуг, не прилагал усилий, не всегда даже оформлял договор. Все равно автор должен платить, и достаточно много. До 25 процентов гонорара.

Или наследник. Деньги стекаются в ВААП «сами» — их переводят издательства, обязанные к тому по закону. И за эту операцию ВААП взимает в свою пользу деньги. Притом с наследника. А не с бюджета, в интересах которого все делается.

Деньги, взимаемые ВААП, называются «комиссионным вознаграждением». Но на деле это оброк, который платят независимо от проведенной работы.

Самый главный порок ВААП, на мой взгляд,— это то, что он выступает в качестве «законного представителя» автора, с волей которого он, однако, может не считаться. Как опекун несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет. Творец новых произведений науки, литературы и искусства приравнен ВААП к малолетнему, душевнобольному и слабоумному. И автор не может отказаться от «услуг» ВААП, во всяком случае, не может обойтись без него при использовании произведений за границей. Значит, юридической базой монополии ВААП является ограничение прав автора. А это имеет уже не юридический, а политический оттенок.

Авторское право обязано своим появлением превращению произведений в товар, выходом их на рынок. Значит, полноценное функционирование авторского права возможно только при системе, основанной на рыночных рычагах. ВААП с его монополией противоречит этой системе, несовместим с ней. Не дает возможности осуществить полноценно принципы авторского права.

Разумеется, оценивать ВААП нужно конкретно-исторически. Раньше он играл положительную роль, поскольку никогда не относился к числу самых жестких форм административно-командной системы. Теперь, когда эта система подвергается слому, отношение к нему меняется. На его месте должны появиться другие организационные формы, соответствующие новым общественным отношениям.

О намечаемой ВААП перестройке. Ее суть должна быть только одна — отказ от монополии и от ограничений прав автора. Появление конкурирующих формирований, построенных на других, чем сейчас, экономических основах. Главный критерий искренности заявлений — реальные дела. Давайте обратимся к ним. Начнем с внешнеэкономической деятельности.

При образовании ВААП в 1973 году было установлено, что к числу его функций относится осуществление «посредничества при заключении договоров и заключение договоров (контрактов) с иностранными юридическими и физическими лицами об использовании произведений советских авторов за рубежом». И наоборот, та же работа, направленная на использование в СССР произведений иностранных авторов. Но нигде не сказано, что эти права имеет только ВААП. Что такие договоры не могут заключать сами авторы или по их поручению другие организации. Просто ВААП имеет это право. Правда, в 1973 году рассматриваемая норма имела специфический смысл. Тогда действовала система, при которой внешнеэкономические операции могли осуществлять только организации, специально на то уполномоченные. Кроме ВААП, никому или почти никому не было разрешено специально торговать авторскими правами.

Сейчас положение радикально изменилось. Право осуществлять внешнеэкономическую деятельность предоставлено практически всем советским организациям. Требуется только оформить их намерение. Значит, все они могут торговать авторскими правами. А запись, относящаяся к ВААП, приобретает только один смысл. Он вправе торговать авторскими правами. Но ни о какой монополии теперь не может быть и речи.

Но пойдем дальше. А как с гражданином? Имеет ли право он сам без посредников продать авторские права на свое произведение за границу? Раньше это категорически запрещалось. Продажа собственного произведения за границу тоже есть внешнеторговая сделка. И потому совершать ее могли только лица, специально уполномоченные государством. Ну, а теперь? Современные акты о внешней торговле не содержат никаких ограничений для граждан, во всяком случае, в части непосредственной продажи за границу своих авторских прав. А раз так, значит, отпали запреты на самостоятельное заключение договоров. Многие уже пошли по этому пути.

Теперь о монополии ВААП на выплату авторского гонорара. Действующее законодательство поручает ВААП получение и выплату гонорара советским авторам за использование их произведений за границей и, наоборот, только «по договорам (контрактам)», заключенным при посредничестве или непосредственно ВААП. Во всех остальных случаях претензии ВААП на посредничество и раньше не были основаны на законе. Здесь ВААП всегда был узурпатором, распространив приведенное правило на все гонорары из-за рубежа, даже когда он договоры не заключал. Например, при публикации статей в журналах. А сейчас, когда договоры могут заключаться не только через ВААП, сфера действия этой формулы становится еще более узкой. Автор должен иметь право получать гонорар из-за рубежа по общим правилам. И при этом никаких «комиссионных» ВААП. Только налог в соответствии с действующим законодательством.

Значит, от монополии ВААП уже по действующему законодательству ничего не остается. Она сохраняется на практике только в силу сложившегося консервативного стереотипа, по инерции. Если бы ВААП действительно стремился к перестройке, он уже по действующему законодательству мог бы проводить правильную, по существу, линию. Но ведь не хочет...

И вот еще один дополнительный, но очень характерный штрих. Предлагают открыть при ВААП филиал Внешэкономбанка для расчетов с авторами. Добро бы только для избавления авторов от огромных очередей. Нет, основная задача другая. Монополизировать выплату вознаграждения, начисленного за границей. Следствием «демократизации» по-вааповски станет еще большая монополизация.

Руководители ВААП в своем интервью говорят: «Мы за ломку монополии ВААП». Но тут же следуют оговорки, которые сводят все на нет. Готовы согласиться с литературными агентствами при ВААП, заключающими с ним договоры, предполагающие конкуренцию лишь внутри ВААП.

Руководство ВААП обосновывает свою позицию. Самостоятельные агентства будут-де дилетантскими. «Они просто не выдержат конкуренции с ВААП». А авторы, стремящиеся самостоятельно выступить на рынке, не располагают необходимым объемом коммерческой информации. И потому не сумеют обеспечить свои интересы. И вывод — ВААП будет оказывать давление на автора, чтобы сохранить фактическую монополию, только немного переиначенную. «Мы свои услуги будем предлагать комплексно... И мы тогда поставим вопрос так, хочешь быть членом ВААП — передавай нам для ведения все свои дела и в стране и за рубежом. И никак иначе». То есть отдай свои права не только настоящие, но и будущие!

Логика выглядит более чем странно, особенно в условиях рыночного механизма, на который она рассчитана. Не надо лишать автора возможности определять способы обеспечения своих интересов. Пусть сам все решает. Сам распоряжается своими правами и пожинает плоды своих действий. Ему нужна возможность выбора, а не принудительная опека. Жизнь, опыт быстро научат находить правильное решение.

Еще более странно выглядит забота ВААП о своих соперниках.

В интервью «Огоньку» руководители ВААП говорят только о трудностях в своей работе. В других выступлениях они рекламируют и свои достижения, стремятся доказать, что перестройка в работе уже началась. Конечно, что-то делается. Но очень уж неумело. Остановлюсь только на некоторых «реформах».

Прежде всего о заслугах ВААП по совершенствованию системы вознаграждения, повышению ставок гонорара.

Вот, например, фрагмент гонорарного постановления, о котором идет речь в интервью. Ставки, установленные для звукозаписи, оказались распространенными на видеозапись. При миллионных тиражах грампластинок и всего сотнях штук видеокассет. Ставки утверждены правительством — в постановлении, проходившем через ВААП. Основаны они на явно ошибочном принципе.

Или вот еще что. В 1989 году перед выборами издательство «Советская Россия» выпустило брошюру с текстом Конституции РСФСР. И с обозначением, что авторское право на Конституцию принадлежит этому издательству (?!). И сделано это в соответствии с новой инструкцией, составляющей предмет гордости ВААП.

А теперь о главном деле. О проекте так называемого «закона» об авторском праве, который ВААП поднимает на щит, будто собственную инициативу, хотя создан он по прямому поручению правительства. А вот истолкование поручения и его исполнение действительно вааповские.

Проект нигде не опубликован и обсуждался чисто аппаратно. Поэтому анализировать его, по существу, невозможно. Можно только обратиться к его принципиальным положениям.

Жаль, что это не самостоятельный закон, а только глава в Основах гражданского законодательства. В модернизированном варианте сейчас 24 статьи вместо семи.

Но регламентация остается по-прежнему очень обобщенной. Это еще лишь «основы», некие общие принципы, а не закон, исходя из которого можно работать. Для решения сегодняшних задач нужен уже подробный закон. Как во всех современных государствах. Как английский закон 1988 года или американский закон 1976 года. Подготовка новой редакции Основ только затормозит создание настоящего развернутого закона, полноценно удовлетворяющего современные потребности. При таком законе без большого числа подзаконных актов, ведомственных инструкций не обойтись.

Постановление Верховного Совета СССР от 6 марта 1990 года поручает правительству внести в 1990 году на рассмотрение ряд законодательных актов, и среди них регулирующий «отношения по созданию и использованию... произведений науки, литературы и искусства...». Ясно, что речь идет о подлинном авторском законе, а не о кратком разделе Основ...

Где же выход? В организации осуществления авторских прав нужен подлинный плюрализм. Свои услуги могут предлагать автору самые разные организации. Дифференцированные по видам произведений и способам их использования. Скажем, занимающиеся произведениями литературными и музыкальными, изобразительного искусства и архитектуры. Самостоятельные организации, созданные на акционерной, кооперативной или другой основе. Или существующие при творческих союзах. Надо допускать к этой работе и отдельных авторско-правовых агентов, функционирующих в порядке индивидуальной трудовой деятельности.

И пусть оказывают автору весь спектр услуг — от поисков возможного пользователя произведения и заключения с ним авторского договора до сбора гонорара и преследования нарушителей авторских прав. Естественный отбор отсеет жизнеспособных, остальные отомрут. Авторско-правовые агенты — организации и индивидуалы — должны иметь право создавать свои ассоциации, объединения. Ко всем организациям и лицам, осуществляющим представительство авторских прав, должен предъявляться какой-то минимум квалификационных требований. А дальше пусть автор разбирается, с кем ему иметь дело. И несет риск выбора. Разумеется, за автором надо сохранить право вести свои дела самостоятельно.

А вааповская система при этом распадается. Те функции, которые выполняет ВААП в области законодательства, международных межгосударственных договоров, должны перейти к Министерству юстиции, как во многих других странах. С этой работой вполне справится очень небольшое подразделение, буквально из нескольких человек. Общественный контроль со стороны общественных организаций был бы здесь вполне естественным.

Только так, на базе экономического механизма, рынка удастся поставить надлежащим образом осуществление авторских прав. Нужно не модернизировать организационные формы охраны авторских прав, а сломать существующие. И построить систему заново. Чтобы авторам оказывалась помощь во всех сферах. Притом не на монопольной, а на альтернативной основе.

В. ДОЗОРЦЕВ,
доктор юридических наук,
профессор

НЕБЕСНЫЙ КОЛЕР НАИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Елена ЛЬВОВА

А. Мухин. «НАТЮРМОРТ».



Коренастый и жилистый, с грубоватым румянцем на скуластом лице, ангел-хранитель озарен странным светом. Оберегающее движение тяжелых рук противоречит жесткому, почти жестокому выражению глаз... И рот как узкая щель. Мальчик в матроске с обручем в руке, девочка в голубом платье с кушаком. Застывшие лица детей, и пропасть у них под ногами, и ангел, больше похожий на няньку, чем на небесного посланца... Но за спиною два могучих крыла. Эти образы созданы воображением и простодушной верой наивного художника.

«Ангел-хранитель» — одно из лучших полотен в собрании московского архитектора Владимира Александровича Резвина. Он увлекся сначала коллекционированием русского бытового металла, а первые картины безымянных мастеров попались ему случайно. И вскоре стали главной страстью собирателя.

Стихия наивного творчества сохраняет сам дух и строй традиционной, как правило, крестьянской культуры. Но соприкасается и с «ученым искусством», перетекает в него, да и испытывает его влияние.

Мастеров наивной живописи называют иногда «художниками воскресного дня». Это определение отдает горечью несвободы.

Француз Анри Руссо, первый наивный художник, получивший мировое признание, вошел в историю искусства как «таможенник Руссо». Он всю жизнь тянул лямку маленькой чиновничьей должности, дававшей ему хлеб и кров.

А великий грузинский его собрат Нико Пиросманашвили не сумел по будням жить как все, работать кондуктором на железной дороге и превращаться в художника лишь по выходным. Пиросмани выбрал живопись и умер в нищете, оцененный немногими современниками. Мировая слава пришла к нему лишь спустя десятки лет.

Непонимание было судьбой и Ивана Никифорова, чей поразительный дар осуществился лишь в преклонные годы. Солдат первой мировой, а потом колхозник, кустарь, грузчик, он был художником милостью божией и успел создать удивительную рисованную летопись своей жизни. Сродни Никифорову и подмосковный мастер Александр Мухин. Случайно натолкнувшись на работы Мухина, Резвин познакомился с самим мастером и стал открывателем этого незаурядного дарования.

Несвобода «художников воскресного

А. Карпов. «РУСАЛКА С КАВАЛЕРОМ».

«ПЕЙЗАЖ С ЛЕБЕДЯМИ» (автор неизв.).



«МОЛЕНИЕ ГОСПОДА В САДУ» (автор неизв.).

дня» неожиданно оборачивается свободой — свободой от школьных правил и академических догм. Наивные художники трудятся часто «для души», по внутренней, не до конца осознанной потребности. Среди них немало чудаков. Впрочем, рисковали прослыть чудаками и любители наивного искусства.

В 20-х годах прошлого столетия молодой ученый И. Снегирев, заинтересовавшись народной картинкой, стал собирать ее образцы. Ему пришлось оправдываться перед коллегами в своем пристрастии к «столь пошлому и площадному предмету». С недоумением взирали и на Д. А. Ровинского. Юрист и сенатор, человек независимых вкусов, он посвятил себя собиранию и исследованию русского лубка.

Ныне лубок обрел статус музейности. Родственные ему виды народного творчества тоже. Но далеко не все.

Еще одна область собирательских интересов В. А. Резвина — копилки. Его пристрастия заставили меня вспомнить художницу Татьяну Алексеевну Маврину. Она давний ценитель этого вида народного творчества. Целое собрание рыночных котов соседствовало в ее доме с образцами самого высокого искусства. Один кот был, помнится, небесно-голубого цвета с малиновым бантом и выражением редкого самодовольства на ушастой морде. И интересно было наблюдать, как эстет и насмешник, рафинированный продолжатель традиций «Мира искусства», Николай Васильевич Кузьмин с любовью демонстрировал гостям колоритное собрание этих копилок. Рыночные пришельцы не выглядели чужаками среди книг, рисунков и акварелей хозяев дома — ведь их собственное творчество питалось и от этого источника.

Вкус к примитиву, понимание его языка присущи бывают обычно двум категориям лиц: наивному зрителю, не искушенному в тонкостях ученого искусства, и утонченному созерцателю, знатоку. В. А. Резвин относится ко второму типу ценителей этого искусства.

Художественный язык примитива сразу и необычен, и прост. Он дико свеж, порой пугающе выразителен, всегда предметен и нагляден.

Автор народной картинки не ищет славы (подпись встречается реже, чем надпись, поясняющая содержание), он



«ОЗЕРО В ГОРАХ» (автор неизв.).

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (автор неизв.).



ищет лишь формы выражения завладевшей его душой мысли. Он отважен. Он одинаково уверенно чувствует себя среди зверей и птиц, среди обыденных предметов и среди диковинных существ. Наивный художник берется за вечные темы. Безвестный мастер не отступает, например, перед одним из самых глубоких и самых пронзительных евангельских сюжетов и пишет свое «Моление Господа о чаше», словно впервые истолковывая кистью случившееся в Гефсиманском саду. Великие картины не толпятся у него в памяти, и он находит свое — простое и новое — решение темы.

Особым — изнутри — пониманием наивного искусства был наделен замечательный русский живописец Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Образ наивного художника — один из важнейших в его автобиографической трилогии. «Это я как бы себя в порядок собираю баловством этим. Тут и сон и явь, землею хожу, водою вплавь...»,— говорил его герой, сторож, живописец и график.

«Корабль», оснащенный на все мачты, плывет морем. Это океан-море Египетское. Далеко по горизонту земля цветущая, ходят по ней люди индейские. Туда корабль путь держит, да путь труден. Корабельщики толкутся, снуют по палубе... И вот из глубины морской, разрезав волну, выскакивает фараон-рыба, голова девья, и впивается в несчастное судно. И спрашивает хищница: «Когда, корабельщики, конец света наступит? Ой, измучилась я, фараон-рыба, ожидаючи!» Петров-Водкин не только описал поразившую его воображение композицию, но и подметил черты этого чисто народного стиля: его эпичность и юмор, провидчество и положительное понимание жизни.

Художник, о котором Петров-Водкин вспоминал столь проникновенно, расписал когда-то для него колыбель «одним небесным колером».

«Цветики небесные, которыми земля держится и не колеблется»— так определил живописец свою задачу. И уже взрослым Петров-Водкин с грустью сожалел об утраченной драгоценности своего младенчества.

Художник «народных толщ» стоял не только у колыбели Петрова-Водкина, но и у колыбели всего нового русского искусства XX века. А наивная живопись продолжает жить, не утратив своего обаяния. В мир ее простодушной веселости помогает войти и собрание В. А. Резвина.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА КПСС: УРОКИ НЕДАВНЕЙ ИСТОРИИ

Начало см. на стр. 3.

вой редакции Программы КПСС стремилась-де, по существу, к созданию новой Программы партии (а не новой ее редакции). Это во-первых. А во-вторых, от упреков в том, что, настаивая, мол, на исторически длительном характере этапа развитого социализма, в начальную стадию которого мы только вступили, эта «группа» пыталась «лишить советский народ коммунистической перспективы», «отторвать коммунизм» от реального социализма и чуть ли не «затормозить» наше развитие.

Такие упреки, как мне сообщили («по секрету» сообщили, так как в этот период я уже не работал в аппарате ЦК), прозвучали, например, в одном из выступлений Е. К. Лигачева при завершении работы над проектом новой редакции Программы, который был одобрен на октябрьском (1985 года) Пленуме ЦК КПСС, а также на некоторых так называемых закрытых и узких совещаниях в отделах ЦК, информация о содержании которых в наше время быстро доходит до заинтересованных лиц.

Дошла она и до меня. И я, пожалуй, согласился бы с сутью этих упреков и даже готов, как говорится, понести ответственность за «инкриминируемые» мне обвинения (тем более, признаюсь, они льстят моему самолюбию!). Но справедливости ради должен заметить, что работа этой рабочей группы не велась нелегально. И возглавлял ее не только я. И входили в нее не одни лишь «рабочие лошадки» низкого номенклатурного уровня, которые обычно все и тянули, но и некоторые нынешние высшие руководители нашей партии и государства (что легко проверить по еще не запылившимся официальным документам из архивов ЦК КПСС). Но в тот момент некоторым товарищам почему-то хотелось свалить всю ответственность на меня (тогда еще, наверное, было мало найдено козлов отпущения). И я, повторяю, готов, если угодно, взять ее на себя.

Я «виноват» в том, что имел, придя в аппарат ЦК, более или менее продуманный план действий по пересмотру, ревизии, если угодно, ряда важных теоретических и общестратегических положений прежней Программы КПСС. Шел я к этому не только под влиянием научных соображений, но и в значительной мере мотивов этического порядка, которые в жизни многих коммунистов моего поколения играли далеко не последнюю роль.

Помню, как в 1984 году, делясь своими соображениями о переработке третьей Программы КПСС с одним из будущих главных архитекторов того, что получило теперь название революционной перестройки, я откровенно говорил об этих этических мотивах. Тем более что обстановка к тому располагала. Точнее, не обстановка, конечно, кабинета, в котором мне и прежде приходилось (правда, не в такой «камерной» ситуации) разговаривать со всеми высшими идеологами так называемого застойного времени. А некоторые из них, прямо скажем, к откровенности не шибко располагали, как, например, М. А. Суслов, с которым меня познакомил его помощник Б. Г. Владимиров примерно за год до смерти своего тогдашнего «шефа». Так что, говоря о располагающей к откровенности обстановке, я имею в виду ту атмосферу, которую, как мне казалось, стремился создать в работе над Программой мой уважаемый собеседник, тем более многим из нас в тот момент действительно верилось, что кончаются застой и коммунистическая трескотня и начинается пусть медленное, но все же движение к реализму. Я повторил своему собеседнику то, что от меня некоторые «мои начальники», которым я доверял, и все мои близкие коллеги слышали не раз.

«Утопический характер третьей Программы наносит нам не только научный и политический вред. Он причиняет и колоссальный нравственный ущерб всей партии и всему, если хотите, обществу,— так примерно рассуждал я, подогревая себя и «пламенея».— Вот уже два десятилетия первый же шаг вступающего в нашу партию — это шаг к вранью и лицемерию. Ведь каждый пишет в заявлении: с Программой и Уставом партии знаком, целиком и полностью одобряю. Тем самым будущий молодой коммунист, если он, конечно, не круглый дурак, откровенно врет или лукавит! Сколько можно с этим мириться?»

Мой собеседник сказал, как помнится, задумчиво поглядывая на лежащую перед ним книгу «Социалистический идеал и реальный социализм» и имея в виду, очевидно, автора книги, то есть меня: «Сейчас все это кажется ясным. Задним умом мы всегда сильны. Но не все так виделось четверть века назад,— добавил он, как мне показалось, вполне откровенно.— Я сам ведь голосовал за эту Программу, был делегатом XXII съезда. И ведь верили мы тогда в это!»

Этими словами он напомнил и мне о моей прежней вере в осуществимость коммунизма (еще при жизни нынешнего поколения!). И на минуту стало как-то спокойней. Но вдруг, очевидно, по ассоциации, я вспомнил один из зимних январских дней в Завидове, где в резиденции Генсека ЦК КПСС Л. И. Брежнева мы дорабатывали и шлифовали его доклад на предстоявшем XXVI съезде КПСС. В этот день тяжелобольной, уже давно физически совершенно неспособный, на мой взгляд, к управлению страной Леонид Ильич, выйдя из какого-то заторможенно-угрюмого состояния, в коем он чаще всего пребывал в течение тех трех недель, когда он ежедневно «работал» с группой подготовки Отчетного доклада ЦК КПСС съезду (в которой впервые оказался и я), вдруг разговорился, и надолго. Делился он в основном воспоминаниями о конце 20-х — начале 30-х годов. Причем, что поразило меня, рассказывал он очень конкретно, с приведением многих деталей, дат, имен и фамилий. И вот что он, в частности, сказал (передаю, конечно, не дословно — записей такого рода я практически не вел,— но за суть мысли ручаюсь). «Да,— несколько мрачновато молвил наш Генсек,— во все мы тогда верили. И как было без веры... Придешь в крестьянский дом излишки хлеба забирать, а сам видишь, у детей глаза от буряка слезятся, больше ведь есть нечего... И все же отбирали, что найдем из продовольствия. Да, во все мы очень крепко верили, без этого жить и работать было нельзя...»

И, вспомнив этот рассказ, я вновь загрустил, подумав: до каких пор мы, коммунисты, клявшиеся вроде бы не на Библии, а на науке, будем собственной верой оправдывать собственные ошибки, глупости, а то и преступления? И еще мне вспомнились слова П. Л. Лаврова: «Лишь критика созидает прочные убеждения. Лишь человек, выработавший в себе прочные убеждения, находит в этих убеждениях достаточную силу веры для энергического действия... Если вера моя не есть следствие критики, т. е. не имела случая подвергаться возражениям, то кто мне поручится, что в минуты действия поводы, побуждающие меня действовать несогласно с этой верой, не пошатнут ее?»

Наверное, только такая вера, без которой, конечно, не может быть живого человека, и достойна уважения, вера, основанная на всегда свободной критике предмета веры. Иначе это не вера, а невежественный фанатизм.

Люди, помнящие идеологическую ситуацию описываемого мною периода, согласятся, наверное, что главным препятствием на пути сколько-нибудь реалистического обновления партийной Программы был, конечно, не правый ревизионизм, который мы (в том числе и автор этих строк) сильно ругали (это была даже своего рода ритуальная ругань!). Главным препятствием был левый догматизм, окутанный коммунистической (именно **коммунистической,** а не социалистической) словесной трескотней. Мешали, конечно, и некоторые, скажем так, политико-психологические факторы. Например, то, что в высший орган партии все еще входили довольно влиятельные деятели, в том числе и увенчанные академическими званиями, лично участвовавшие в подготовке хрущевской Программы форсированного построения коммунизма.

Этим прежде всего объясняется тот факт, что «низвержение» тезиса о развернутом строительстве коммунизма как о главной особенности нашего развития началось при опоре на положение, выдвинутое уже в середине 60-х годов, о **развитом социализме.** Об этом не следует забывать тем людям, которые видят в «развитом социализме» только некий жупел так называемого застойного периода и слышат в этом словосочетании лишь звон литавр и грохот барабанов. Неплохо припомнить и то, что на знаменитом апрельском (1985 года) Пленуме ЦК КПСС **генеральной** ее линией было названо совершенствование «общества развитого социализма» (подчеркиваю: даже не социализма вообще, а **общества**, то есть некой якобы реальности, существующей у нас).

Словом, в реальной жизни все было не так просто. Данный термин (развитой социализм), появившийся в наше время впервые в ЧССР и ГДР, с помощью которого эти экономически самые развитые в социалистическом мире страны пытались уйти от навязываемой им хрущевской коммунистической утопии, поначалу играл довольно прогрессивную роль. Запущен он был в оборот и нашими наиболее мыслящими обществоведами (а совсем не «трескунами», как сейчас хотят это представить современные любители красного словца). В **партийной печати** о нем (о развитом социализме) как о нашей действительности впервые написал, если я не ошибаюсь, Ф. Бурлацкий где-то еще в середине 60-х годов. А затем, несмотря на то, что положение это прозвучало в 1967 году в юбилейной цветистой речи Л. И. Брежнева, оно то возникало, то приглушалось и шло как бы на равных с тезисом о «развернутом строительстве коммунизма».

Во всяком случае, руководители Института марксизма-ленинизма того времени в многочисленных вариантах макета шестого (так, кажется, и не написанного!) тома «Истории КПСС» именно подобным образом стремились изобразить дело, «впрячь в свою телегу» коня и трепетную лань... И их можно понять. Ведь и на XXV съезде КПСС, состоявшемся в 1976 году, то есть за 4 года до ожидаемого (по Программе) наступления коммунизма, ни слова не было сказано о необходимости внесения соответствующих изменений в Программу КПСС. Хотя вопрос этот, естественно, давно носился в воздухе. Во всяком случае, группой ответственных работников ЦК, в которую входил и я, был подготовлен текст для Отчетного доклада съезду, где в мягких, сдержанных, но ясных фразах говорилось об этом. Но то ли текст до докладчика не дошел, то ли еще что случилось. Так что партия оказалась по-прежнему вооруженной Программой построения коммунизма к 80-му году...

Тем не менее не только в научном, но и в партийном словаре со словосочетанием «развернутое строительство коммунизма» было вскоре покончено. Этому способствовало принятие в октябре 1977 года новой, как ее называют сейчас, брежневской Конституции СССР (которую, впрочем, можно было бы, поверьте мне, назвать с большим основанием и другими, более популярными сейчас именами) и в особенности статьи «Исторический рубеж на пути к коммунизму».

Статья, к которой я имел самое прямое отношение, была заказана для международного журнала «Проблемы мира и социализма». Деталь эта важна для понимания того, что статья была сориентирована первоначально для пропаганды за рубежом международного значения новой Конституции со всеми вытекающими отсюда жанровыми особенностями. В то же время ее создатели (их было двое), будучи единомышленниками в главном, сознательно поставили перед собой задачу: использовать статью для того, чтобы затвердить в общественном сознании мысль о том, что, во-первых, после построения в середине 30-х годов у нас основ социализма (это положение тогда поставить под сомнение было невозможно) наступил этап или период не перехода к коммунизму, а **построения развитого социалистического общества.** А во-вторых, акцентировать внимание на том, что совершенствование социализма — **задача не менее сложная и не менее ответственная,** чем создание его основ. Для внимательных читателей не новость, что эти мысли и совсем недавно широко использовались некоторыми лидерами перестройки для обоснования апрельского обновленческого курса. Вместе с тем статья, не успев выйти за рубеж, тут же была перепечатана во всех периодических изданиях СССР (до газет включительно), стала (в духе и нормах времени) предметом изучения в системе партпроса и т. д. и т. п. Словом, для массового сознания эффект «барабанного боя» оказался сильнее реалистических элементов, содержащихся в статье. И это нельзя было не учитывать, не считаться с этим. Но мы с этим тем не менее не посчитались, понадеявшись на более тонкое восприятие статьи. И, конечно же, как это сегодня ясно, просчитались. Невольно приходят на память строчки из поэмы Е. Евтушенко:

История грубей расчета.
В расчете чуть перетончи,—
и на тебе самом чечетку
другие спляшут резвачи.

На собственном опыте я убедился в этом...

Читателей наверняка интересует, как отнесся «главный автор» статьи, чьим именем она была подписана, к ее содержанию... Не вдаваясь сейчас по ряду причин в детали, могу сказать, что никаких возражений, никаких пожеланий после того, как статья была прочитана Л. И. Брежневу одним из его по-

мощников, он не высказал и лишь спросил: «А не слишком ли статья теоретична, я ведь не ученый, а политик?» На что К. У. Черненко, присутствовавший при читке, сказал: «Ничего, Леонид Ильич! Увидите, по ней десятки ученых начнут сразу сочинять свои диссертации!..»

Как видим, Л. И. Брежнев мог, опираясь на эти идеи (теперь уже как на свои), с известным основанием (и с полным удовлетворением) сказать в докладе, прочитанном им на XXVI съезде, что концепция развитого социализма — наиболее крупное завоевание марксистско-ленинской мысли последнего времени и надо бы, исходя из нее, скорректировать третью Программу КПСС в более реалистическом духе.

Итак, лишь в феврале 1981 года после полного выявления **практического** банкротства основных теоретических установок Программы развернутого строительства коммунизма официально, с высшей партийной трибуны без тени какой-либо самокритики было сказано о необходимости внесения в нее существенных поправок, о том, что мы в своих установках... проскочили, так сказать, через исторически длительный, необходимый этап в развитии коммунистической формации.

Что ж, лучше поздно, чем никогда? Нет, эта утешительная банальность не всех устраивала, причем не только обществоведов, но и некоторых наших крупных политиков. Одним, может быть, первым из них, имевшим к тому же вкус и интерес к теории, был, безусловно, Ю. В. Андропов.

В массовом сознании шаги к более реалистической трактовке и понимани особенностей и уровня развития нашего социалистического общества связывают главным образом с его статьей «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР», опубликованной в начале 1983 года. Статья эта, приуроченная к столетию со дня смерти Маркса **(и готовившаяся, кстати, нами первоначально для Л. И. Брежнева),** действительно стала одним из наиболее заметных явлений в нашей идеологической жизни. Этому способствовал и тот факт, что в ее подготовке, помимо, так сказать, непосредственных «писателей-исполнителей», участвовали и люди, выдвинувшиеся в годы перестройки в число ее лидеров. Отсюда и заметная для специалистов связь некоторых идей статьи с идеями современной политической реформы, и прежде всего с идеей **социалистического самоуправления** народа, впервые на таком уровне «реабилитированной» в нашей партийной печати именно в 1983 году.

И все же основные с точки зрения интересующей нас темы идеи статьи были высказаны гораздо раньше, еще до того, как Ю. В. Андропов «переехал» с Лубянки на Старую площадь, и тем более до того, как он стал Генсеком ЦК КПСС. Они прозвучали в его же докладе по случаю 112-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина 22 апреля 1982 года. Два важных и новых положения были четко сформулированы в докладе.

Первое. Наши задачи — задачи, встающие в последних десятилетиях XX века,— совершенствование развитого социализма. Причем выраженный упор на слово «совершенствование» явно контрастировал с прежними акцентами на то, что у нас **построено** развитое социалистическое общество, перерастающее в коммунизм. И второе. Это исторически длительный этап со своими собственными ступенями, этапами роста, и **мы находимся лишь в его начале.** Свидетельству (и это, думаю, могут подтвердить ответственные за выпуск доклада в печать старые помощники Ю. В. Андропова — П. П. Лаптев и В. В. Шарапов), что последнее положение сознательно после всестороннего обдумывания было санкционировано самим докладчиком, который придавал ему большое значение.

Эти два основных положения и легли в основу общетеоретического раздела его статьи о Марксе, подписанной уже в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС. Две детали тем не менее существенно обогащали, на мой взгляд, высказанные ранее идеи об особенностях развития советского общества.

Это, во-первых, мысль о том, что современный этап развития отягощен **еще не решенными проблемами, оставшимися от вчерашнего дня,** то есть мысль о явной **незавершенности** задач построения развитого социализма. А отсюда и лично продиктованное им положение о том, что **нам понадобится определенное время, чтобы подтянуть отставшие тылы, а затем уже двигаться дальше.** Положение, особенно интересное в свете последующих «приключений» с провозглашенной КПСС стратегией ускорения социально-экономического развития и дискуссиями на тему: ускорение или перестройка?.. Положение это вызывает тем больший интерес, что за ним, насколько я помню, стояли и мнения некоторых близких Ю. В. Андропову людей о необходимости для «подтягивания тылов», для решения проблем нашей слаборазвитой социальной инфраструктуры введения по крайней мере одной пятилетки так называемого нулевого роста. И, во-вторых, немалую роль сыграло само название статьи: «...некоторые вопросы **социалистического строительства** в СССР». Отобранное среди ряда других предложенных названий и лично скорректированное Ю. В. Андроповым, оно произвело впечатление своей, грубо говоря, «антикоммунистической» направленностью. Характерно, что добрая половина — насколько я помню — руководящих деятелей, приславших свои замечания на статью (она рассылалась по определенному списку до публикации), зачеркивала слово «социалистического», заменяя его на **«коммунистического** строительства»... Но название не изменилось.

Рамки рассматриваемой мною темы, а также обещание говорить по преимуществу о том, что мне (по моему тогдашнему положению) известно больше других, заставляют временно расстаться здесь с периодом Ю. В. Андропова, с которым многие (и не без оснований) связывают **начало** сложного и противоречивого курса на обновление и нравственное очищение нашего общества. Хотя кое-что в этом плане остается и загадочным.

Чем же было отмечено вступление в должность Генсека Константина Устиновича Черненко, который вел во время длительного отсутствия по болезни Андропова заседания Политбюро ЦК КПСС, выступая тогда, условно говоря, в роли второго секретаря ЦК и занимая, как мы, аппаратчики, говорили друг другу, «сусловский» кабинет на «особом», пятом этаже, что само по себе для системы, придающей большое значение различного рода символам власти, означало многое.

Отвечая на этот вопрос, я, понятно, буду вести здесь речь о делах, связанных с Программой партии, и примыкающих к ней проблемах, тем более что львиную долю моего времени отнимали именно они, когда я — волею судеб и некоторых лиц — стал помощником Генерального секретаря ЦК КПСС через несколько дней после избрания им К. У. Черненко. У читателя, конечно, тут же возник другой вопрос: а почему его? Такой информацией лучше меня владеют другие люди, но они почему-то молчат. Промолчу здесь пока что и я.

Итак, о Программе. Уже в конце апреля 1984 года в ЦК КПСС, в так называемом Мраморном зале Секретариата, состоялось сравнительно широкое совещание ведущих практических и теоретических партийных работников, на котором с предложениями о переработке третьей Программы выступил К. У. Черненко. На совещании, как это отмечалось и в выступлениях подавляющего числа его участников — некоторых членов Политбюро и секретарей ЦК, заведующих его отделами, руководителей средств массовой информации и ученых, были намечены и теоретические линии работы над Программой и решены некоторые практические вопросы. Произошла, например, фактически смена людей, непосредственно руководивших этой работой. Вместо Б. Н. Пономарева, который занимался ею после XXVI съезда КПСС, верховным, так сказать, куратором стал в целом Секретариат ЦК, заседания которого вел по предложению Черненко в этот период М. С. Горбачев. Несколько своих заседаний секретари ЦК специально посвятили проработке ряда вариантов новой редакции Программы. Были определены уже на том же совещании в ЦК и конкретные лица, возглавившие деятельность двух рабочих групп («внутренней» и «международной»), состав которых, кстати говоря, был утвержден решением Политбюро ЦК КПСС.

Не скрою: у меня, как одного из помощников Генсека, ответственного за подготовку многих его выступлений — публичных и закрытых, была возможность влиять на содержание работы над Программой не только в качестве одного из руководителей созданных рабочих групп, но и через эти выступления. Этой возможностью (как правило, после соответствующих обсуждений как с Генсеком, так и с некоторыми другими людьми, которых он называл сам или по нашей «подсказке») я воспользовался.

Полагаю, что поступал правильно, так как противников серьезного обновления Программы было немало. Да и в целом, несмотря на известные позитивные прорывы (в духе упоминавшейся статьи Ю. В. Андропова), ситуация была шатковатой. На создание новой или, по существу новой Программы КПСС не готовы были пойти. Поэтому была выдвинута компромиссная формула, одобренная на упоминавшемся совещании в ЦК: мы, было сказано на нем, говорим лишь о новой редакции Программы, но в своей работе над ней должны сделать ударение на слове «новая». Была сделана «заявка» и на существенную ломку прежней структуры Программы КПСС (а не только на резкое ее сокращение), в частности, предполагалось заметное снижение упора на так называемую чисто коммунистическую проблематику. И эту заявку надо было заполнять реальным содержанием. Работа эта велась, понятно, в духе выступления К. У. Черненко (с которым он предварительно познакомил некоторых коллег по Политбюро), хотя, насколько мне известно, ни одного полного варианта проекта новой редакции Программы он не читал, а на последних этапах ее доработки (в начале 1985 года) и не в состоянии был сделать это. Разумеется, я (и не только я) периодически информировал его о ходе работы, в том числе на заключительной стадии — в письменном виде (официально в Политбюро текст, с которым я работал, был представлен, если не ошибаюсь, в феврале 1985 года и был на его заседании еще до смерти Черненко, хотя и без его участия, предварительно одобрен).

Что же удалось сделать?

Во-первых, в ряде выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС, опираясь на уже названные положения, прозвучавшие у Ю. В. Андропова, было подчеркнуто в прямом контрасте с положениями третьей Программы КПСС, что, **прежде чем решать задачи, связанные непосредственно со строительством коммунизма, необходимо пройти исторически длительный этап развитого социализма,** в начальную фазу которого **вступила** наша страна **(не построила,** а вступила — такая, как видите, «хитрость» была намечена!). А чтобы окончательно рассеять сугубо коммунистические иллюзии о содержании предстоящей работы, постоянно (даже, наверное, с некоторой назойливостью) отмечалось, что решаемые в обозримом историческом будущем задачи по своему характеру и происхождению целиком и полностью относятся к тем или иным ступеням первой (или низшей) **социалистической** фазы коммунистической формации. Тем самым закладывались предпосылки для того, чтобы подвести к мысли о том, что работа по построению социализма, соответствующего первоначальным классическим замыслам, у нас, конечно, же, не завершена. Не могу не признать здесь, что мысль эта иногда проводилась грубовато, что позволяло некоторым добросовестным (хотя и недалеким) теоретикам упрекать создателей этих выступлений в том, что они «не диалектически» разрывают социализм и коммунизм. И теоретики эти формально были правы, если исходить из официального предположения о том, что у нас «полностью и окончательно построен социализм»... Но при всей любви к теории я, к примеру, не мог исходить из этого (а может быть, именно из-за любви к теории!). А посему мы или я шли на известные теоретические шероховатости во имя более правильного с политической точки зрения подхода. Ничего другого в тот момент «правила игры» не позволяли сделать — так, во всяком случае, мне тогда казалось.

В то же время, поскольку нам хорошо были известны оппозиционные этим взглядам леводогматические мнения и настроения, то в порядке упреждения критики «слева» (то есть с позиций идеологической догмы, а не здравого или научного смысла) еще в сентябре 1984 года в выступлении Генсека на юбилейном пленуме Правления Союза писателей СССР были подчеркнуты два момента. **Первое.** Новая, более реалистическая постановка вопроса о том, где мы находимся и какие задачи решаем, не отодвигает коммунистическую перспективу, а, наоборот, ее приближает, поскольку в коммунизм нельзя «въехать», не решив до конца чисто социалистические задачи. **И второе.** Длительность этапа развитого социализма, в начале которого мы находимся, ни в коей мере не должна означать или оправдывать замедления нашего развития. Напротив, мы должны направить творческую силу народа **«на максимальное ускорение нашего развития».** Таким образом, очевидно, что когда на мартовском и апрельском Пленумах ЦК КПСС (1985 г.) речь шла о **преемственности** нашего генерального курса, то **теоретически** все было довольно близко, как говорится, к истине, ибо два основных компонента этого курса — «совершенствование социализма» и «ускорение» — появились задолго до знаменитого Апреля. Другой вопрос (и это **главное,** конечно), что **на практике** в силу известных (и еще малоизвестных) причин ничего существенного до апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС не было сделано для этого.

Связь **реального** ускорения нашего развития с необходимостью **перестройки** (по крайней мере хозяйственного механизма) многим из тех, кто работал над изменением Программы, **в общей форме** была ясна. Но тогда даже само слово «перестройка» решительно искоренялось всеми руководителями из наших текстов (на этот счет, как хорошо мне известно, между некоторыми — в основном бывшими — членами Политбюро даже существовала определенная устная договоренность). В то же время нам удалось в печати более или менее четко провести идею о том, что, прежде чем рваться вперед «с ускорением», надо «подтянуть» отстающие участки, и в первую очередь сельское хозяйство, транспорт, сферу обслуживания, и, разумеется, добиться **качественного** преобразования всех производительных сил, коренного перелома в повышении интенсификации всего народного хозяйства на основе внесения соответствующих **«перемен в наши производственные отношения».** И сегодня я думаю, что эти мысли, заложенные в статью К. У. Черненко, опубликованную в конце декабря 1984 года,

в целом правильные. И жаль, что они не сразу нашли свое четкое развитие в теории и политике.

Многие идеи, высказанные в статье, готовившейся (как это хорошо известно) довольно продолжительное время и завизированной (после трехчасового обсуждения в узком кругу) К. У. Черненко в тот период, когда он уже почти безвыездно находился в кунцевской Кремлевской больнице, вошли без особых принципиальных изменений в новую редакцию партийной Программы. Но одно из положений этой статьи, которое начало проскальзывать в нашей партийной печати уже с весны 1984 года, к моему глубокому сожалению, в этот документ не попало ни до, ни после Апреля.

Многие (но далеко не все) члены основной, «внутренней» рабочей группы стремились внести хотя бы еще один реалистический элемент в понимание уровня нашей социалистической зрелости и на этой основе существенно скорректировать определение генеральной линии партии. Мы понимали, что пока не удастся выйти на признание того, что социализм в нашей стране еще не построен, а лишь строится, хотя и с известными, все возрастающими трудностями (не говоря уже о деформациях). Но надо было хотя бы выбросить из Программы и из нашего пропагандистского словаря тезис о развитом социализме и его совершенствовании как задаче сегодняшнего дня — тезис, для опровержения которого не надо было быть крупным теоретиком.

Такое предложение после длительных дискуссий и выявившихся разногласий среди части товарищей из «внутренней» рабочей группы было сделано мною (как говорится, при свидетелях!), и сделано на том уровне, на котором оно, как мне казалось, могло быть решено. Я предложил вместо принятой формулы о «совершенствовании развитого социализма» другую, уже опробованную в ряде выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС,— «совершенствование **построенного у нас социализма»,** с сохранением идеи о том, что мы находимся **в начале** большого поворота к практическому решению этих задач. Однако после непродолжительного, хотя и внимательного обсуждения эта идея была отклонена. Вероятней всего (скажем сейчас так) по соображениям **тактического** свойства, хотя, на мой взгляд, достоинства предложенной, безусловно, компромиссной, формулы носили именно тактический характер. Со стратегической точки зрения надо было, конечно, сказать просто правду. Но этого действительно тогда не позволяли сделать факторы субъективно-политического характера — реальная расстановка сил в высшем эшелоне власти, которая начала меняться только после мартовского и апрельского Пленумов ЦК КПСС (1985 г.). Однако перемены эти не сразу и не полностью сказались на содержании принимаемых идейно-теоретических документов, в том числе и на утвержденной XXVII съездом КПСС новой редакции Программы. И хотя из нее «вдруг», буквально в последний момент исчезла фраза о «совершенствовании развитого социализма», но тезис о том, что мы уже вступили в этот этап, остался (в двух местах). И здесь концы с концами могли связать лишь опытные пропагандисты-казуисты «застойного» типа, что и приходилось им делать (мне в том числе), испытывая, правда, известную неловкость... И все же лед, как говорится, тронулся. И с ним стал уходить в небытие ранее «утвержденный» нами, но так и не достигнутый в жизни «этап развитого социализма».

Более сложную эволюцию проделало положение о национальном вопросе, который мы уже давно объявили успешно и полностью решенным, а стало быть, фактически несуществующим для советского общества. Здесь в новой редакции партийной Программы даже был сделан некоторый шаг назад по сравнению с наметившимися в 1982—1985 годах позитивными сдвигами. Это легко заметить, сравнив, скажем, программные формулировки с ясно высказанной еще на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС (тоже, конечно, компромиссной) мыслью о том, что «решение национального вопроса в том виде, в каком он достался от прошлого, отнюдь не означает, что национальный вопрос вообще снят с повестки дня». В результате даже в чисто пропагандистском плане мы оказались полностью безоружными, когда практически повсеместно вспыхнули острые национальные конфликты в стране, правящая партия которой еще в 1986 году заявила в своей Программе об успешном решении национального вопроса...

В новую редакцию партийной Программы не вошла и еще одна мысль, которая не раз звучала в выступлениях К. У. Черненко. Я имею в виду мысль о том, что задача совершенствования построенного в СССР социализма в каком-то смысле равнозначна приведению **существующего** у нас социализма в соответствие **с социалистическим идеалом.**

Скажу откровенно, что сам я ни разу собственной рукой подобных положений, будучи помощником Генсека, в его тексты не вписывал. Не потому, конечно, что был не согласен с ними, а по причинам чисто личного свойства: в 1984 году на эту примерно тему Политиздат выпустил мою книжку. Да и задолго до того, когда сама мысль о сопоставлении социалистического идеала с нашей действительностью казалась многим ответственным редакторам просто крамольной, мне удавалось (вместе с немногими «энтузиастами») развивать идеи об известных противоречиях между ними. И хотя воспринимались эти идеи в массовом сознании поразному, но критический акцент по отношению к действительности при таком сопоставлении был очевиден, как говорится, и ежу.

Думаю, что и сегодня, в условиях перестройки, стремление сопоставить социалистический идеал с нашей действительностью, или, иначе говоря, с реальным (какой уже есть!) социализмом, играет (а для марксистов и не может не играть) и методологически, и политически продуктивную роль. А вчера это был, по сути, единственный легальный способ так или иначе поставить под сомнение официальные догмы «о полной и окончательной победе социализма» в нашей стране, а тем более о его вступлении в развитую фазу. Заметьте: даже западная социал-демократическая трактовка социализма не чурается понятия социалистического идеала, видя в нем, правда, лишь некую линию горизонта, которая всегда впереди... Впрочем, ту же мысль (независимо от Вилли Брандта) блестяще, эмоционально-зажигательно пропел нам Владимир Высоцкий, но уже в чисто русской манере. Помните: «Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте!»

И, думаю, стремление воплотить социалистический идеал в жизнь еще долго (несмотря на его нынешнюю систематическую дискредитацию) будет и волновать, и побуждать к решительным действиям людей. Как верно, видимо, и то, что на этом стремлении будут, конечно, спекулировать различного рода политиканы и политики. Обе эти линии заметно проявились в последующей идейно-политической борьбе вокруг подготовки и истолкования новой редакции Программы КПСС. Но об этом лучше могут рассказать, если захотят, другие люди. А мне пришлось уйти из аппарата. Не скажу, конечно, что был тогда рад этому, тем более что отчасти я, видимо, срастался с системой, в которой проработал около 10 лет. Но и особенно горьких чувств тоже не испытывал в то время. В конце концов уже шла весна, и я повторял строки поэта:

А под ногами лужи, с крыш течет,
И сквозь ресницы солнечная зелень.
Весна, весна захлестывает землю,
Весна сегодня,
завтра что — не в счет!

Не скрою, правда, что первое время после перемены работы по принятым у нас политическим, а точнее, аппаратным нравам мне и отдельным моим коллегам, не сумевшим или не захотевшим, подобно некоторым «друзьям-приятелям», тотчас отмежеваться от меня, попортили немало крови особенно ретивые в таких случаях среднемелкие ответработники. Некоторая свистопляска задним числом развернулась, например, как рассказывают, в редакции одной из центральных газет, где в январе 1985 года были напечатаны (по решению Секретариата ЦК КПСС) две большие редакционные статьи «по поводу статьи» К. У. Черненко. Особенный гнев у отдельных товарищей — и не только из газеты — вызвало содержащееся в одной из этих статей положение, что и применительно к нашему обществу вполне работает понятие «политический плюрализм», если снять с него демагогические наслоения. Говорилось здесь, кстати, и о значении полной и широкой гласности, и о вредности подмены и дублирования партийными органами советских и хозяйственных... Почему-то эти идеи кое у кого вызвали раздражение (может быть, своей преждевременностью?). Причем наши критики намекали, что там, «наверху», тоже недовольны. Может, так и было. Но справедливости ради заметим, что это не помешало через годполтора тем же самым людям более или менее последовательно проводить в жизнь идеи социалистического плюрализма.

Вспоминаю об этом отнюдь не в порядке упрека (способность с годами становиться умнее, учиться на собственных ошибках — качество, конечно, хорошее, которому можно только позавидовать), а для прояснения истинного положения вещей в нашей недавней истории. Тем более что сегодня очевидно: большой заслугой нынешнего руководства партии является то, что, несмотря на теоретически беспомощный характер ряда положений новой редакции Программы КПСС и во многом вопреки им, была дана (уже после XXVII съезда) довольно близкая к действительности оценка уровня нашего реального социально-экономического развития. А главное — был взят курс на то, что получило название революционной перестройки, которой в общем-то нет разумной альтернативы. В этом тоже нашел характерное выражение противоречивый, как говорят за Западе, «феномен Горбачева», который (феномен) связан, конечно, не только с человеком, давшим ему свое имя.

А может быть, все это и неплохо? Ведь в конце концов, как отмечал Маркс, каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ.

Быть может, верно и принятое решение не выносить на XXVIII съезд вопрос о новой Программе КПСС, ограничившись разработкой программы (или платформы) ближайших действий (дело, на мой взгляд, еще более трудное). Но верно, пожалуй, лишь в том случае, если в такой программе будет все же дан принципиальный ответ на вопросы, которые не получили пока что разрешения: кто мы, где находимся и куда идем.

А сейчас наш вроде бы главный идейно-теоретический документ, каковым для советских коммунистов со времен Ленина всегда была Программа, во многом напоминает, образно говоря, то самое, безусловно, дорогое нам историческое кладбище, на которое так хотел съездить Иван Карамазов. Немало лежит на нем действительно величественных (безо всякой иронии) камней, гласящих о горячей минувшей жизни. Здесь мы найдем и следы надгробий, напоминающих чеканные сталинские фразы об исторических победах социализма, и более близкие трескучие формулы хрущевских и брежневских времен. Мы можем даже найти здесь и такие камни, под которыми уже покоятся наши самые первые, оказавшиеся нежизнеспособными обновленческо-ускорительные замыслы...

Но чтобы не рыдать над этими камнями в полном убеждении, что все это давно одно лишь кладбище, как упомянутый герой Достоевского (а тем более не злословить над ними), хотелось бы в нашей Программе видеть не только памятники прошлому. Хотя и они, разумеется, нужны. Но нужны, судя по всему, скорее в исполнении Эрнста Неизвестного, чем Веры Мухиной. А главное — в ней должны быть не только строго выверенные ориентиры на ближайшее будущее. Важно, чтобы в ней просматривалась и современная теоретическая концепция нашего перспективного развития, чтобы яснее видна была именно **конечная цель намеченного сегодня пути,** а не только его ухабы. Чтобы было видно, для чего и для кого совершается нынешняя, рассчитанная не на два-три года (как кто-то недавно полагал), а на два-три пятилетия нелегкая работа перестройки. Такая работа, которая должна развернуть все наше общество, и прежде всего экономику, лицом к человеку, к его современным потребностям и запросам. Только тогда правильный (хотя и поднадоевший) лозунг брежневских времен «Чтобы лучше жить, надо лучше работать» будет дополнен не менее верной формулой: «Чтобы лучше работать — надо лучше жить!»

Возвращаясь к вопросу о программной концепции, хотелось бы подчеркнуть еще вот что. Мы должны в конце концов признать, что **монистический** (используя термин Г. В. Плеханова) диалектико-материалистический взгляд на историю исключал реальную возможность полного построения социализма (разумеется, гуманного и демократического, ибо иной социализм не является действительным социализмом) в одной, отдельно взятой, а тем более капиталистически слаборазвитой стране.

И надо, говоря о драмах и зигзагах нашего развития, выйти за рамки столь модного сегодня простого противопоставления злодея Сталина гению Ленину или тем более полного их отождествления (что тоже нынче входит в моду). Нам следует, видимо, более внимательно поискать фундаментальные истоки наших трагедий и драм прежде всего в социально-исторической специфике экономически отсталой России, в особенностях уровня и культуры труда исторически сложившегося у нас типа работника, в отсутствии в массовом масштабе демократических традиций и т. п.

И мы, если, конечно, желаем оставаться коммунистами, не должны ни терять из виду идеала будущего коммунистического общества, ни гипнотизировать себя им. И пусть сегодня, как утверждают те, кого раньше обычно называли ревизионистами, коммунизм — это утопия, хотя и великая. Но каждый действительно серьезный, реалистически мыслящий человек знает, что великие утопии — нередко не что иное, как преждевременные истины.

Трагична судьба народа, принимающего их за близко лежащую и легко достижимую реальность. Но самой судьбой великому народу, видимо, предназначено создавать, переживать и преодолевать великие социальные утопии. И такую нелегкую с интеллектуальной и чисто психологической точки зрения работу, преодоления, наверно, должен проделать каждый из нас. Но, проводя эту работу, постоянно критически сверяя ее с реалиями жизни, мы можем и должны верить: социализм, социализм гуманный и демократический,— это не утопия. Он действительно стучится во все наши двери, он выстрадан и заслужен нашим народом.



Мне нет еще и тридцати, но я живу уже при пятом Генеральном секретаре. Помню странное чувство, когда в институте узнал о смерти Леонида Ильича. Помню отмену занятий, телевизоры в коридорах, автобусы, высадившие нас у «Маяковской» в хвост очереди, прощавшейся с «телом», пятидневный траур, стук гроба о землю — это веревка соскользнула. Началась пятилетка «великих похорон». Андропов, Черненко... Мы еще не знали, что кончалась эпоха, которую назвали «застоем».

По долгу службы я оказался в траурном Колонном зале, когда 11 марта 1985 года туда пришли участники внеочередного Пленума ЦК КПСС. Каждый хотел оказаться в первых рядах, чтобы увидеть свое лицо в газетах вместе с новым Генсеком — Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Те, кто шаркающей походкой идет за новым Генеральным, думают, что с ними будет, как поведет себя ОН. Куда поведет страну?

Вглядитесь повнимательней в фотографию и вы узнаете их. Бывшие вершители наших судеб. Вы даже вспомните их фамилии, так их нам вдолбили. Иных уже нет, а некоторые на пенсии. Прошло всего пять лет, а как будто вечность. Пять трудных лет понадобилось Горбачеву, чтобы подобрать новых людей. Все ли уже на местах? В отставку ведь подавать все еще не принято и у его соратников.

...Всего-то пять лет. Но это уже история. Наша с вами история. И надежда...

Юрий ФЕКЛИСТОВ.
Фото автора

Давид САМОЙЛОВ
(1920—1990)

ДНЕВНИКИ

Предлагаемые дневниковые записи поэта Давида Самойлова относятся к 1977—1982 годам. Но, читая их, невольно задумываешься не столько о прошлом, сколько о нашем будущем. Эта посмертная публикация автора и друга «Огонька», не дожившего до своего 70-летия всего три месяца. Смерть не прерывает человеческих отношений, просто они становятся иными...

1977

18.03. *Анна Андреевна корила меня за пристрастие к сюжету. Я не вполне понимал, в чем дело. Теперь понимаю. Для нее сюжет — лишнее расстояние от дыхания до стиха.*

14.04. *Талант дан от природы, им гордиться нечего. Но он производителен только в соединении с личностью. А тут дело сложнее.*

Личность тоже дана от природы, но одной своей частью принадлежит свободе воли.

В этом-то и дело.

17.04. *Христианство надо сперва воспринять, а потом принять. У нас чаще всего наоборот: принимают, а до восприятия ум не доходит.*

18.04. *Время не стоит. Стереотипы образуются очень быстро. Вчера еще впервые узнали про Бердяева и Соловьева.*

А сегодня каждый дурак читает Бердяева, пишет под Джойса или Элиота, принял православие и достал Мандельштама.

А дальше что?

Легче всего воспринимают новое дураки, потому что ничем не обременены. Дурак свеж в восприятии, как огурец, но в нем тоже девяносто девять процентов воды.

10.05. *Наша проза делится на деревенскую, диссидентскую и прочую. О прочей почти говорить не стоит.*

Деревенщики пишут о том, как время ломает общество. Диссиденты — о том, как общество деформирует человека.

У них литературные истоки, манера и позиции разные.

У деревенщиков объект — общество, чаще всего деревенское «обчество», «мир». У диссидентов объект вроде как бы человек. Но человек их интересует уже деформированный. Чтобы воплотить такого человека, и стиль должен деформироваться...

Диссиденты, кроме того, всегда предполагают, что, анализируя героя и его деформацию, они выше героя и выше деформирующих моментов, а если не выше, то, во всяком случае, находятся вне зоны деформации, отчего ирония и является необходимым моментом этой прозы.

Деревенщики не выше и не ниже своих героев. Они тождественны своей прозе. Их позиции тождественны позиции героев. Мистический элемент всесокрушающего времени мало ими осознан, а порой принимается и за всезнающую силу времени.

Хочется третьей прозы.

Прозы, где время и общество не противопоставлены были бы человеку, а сопоставлены с ним на равных. Где было бы отражено, что время и общество все же неспособны сокрушить человека как явление культуры, то есть линия более протяженного, чем время, и более прочного, чем общество.

18.09. *В нашем обществе разгул мыслей. Равнодействующая их равна нулю. Мы не двинемся с места, пока не победит простая мысль: так жить нельзя.*

14.12. *Поэзия стала падать в XX веке, когда понятие о ее величине заменилось понятием о ее направлении. Разделение поэзии на левую и правую сбило прежде всего самих поэтов и породило целое племя легкомысленных талантов от Элюара до Незвала.*

Деревенская проза — тоска инкубаторской курицы по курятнику. Кажется, что куры были лучше и в супе вариться было приятнее.

1978

4.03. *Есть литература первого и второго сорта. Шкловский правильно говорил, что они питают друг друга и взаимодействуют.*

Но есть литература третьего сорта, она никого не питает и ни с чем не взаимодействует. У нее есть читатель тоже третьего сорта, вместе с которым она исчезает бесследно.

13.07. *Мы бы хотели, чтобы раскачка, заданная после 1953 года, остановилась в «разумных» пределах, то есть в фазе доброго либерализма с его нравственными понятиями.*

Отталкивание неминуемо должно было пойти дальше, чтобы на все прежние pro объявились новые contra.

Интернационализм — шовинизм, космополитизм — почвенность, демократизм — монархизм, безверие — суеверие, восстание — терроризм, Петр I — Аввакум и т. д.

Чего мы хотим, сами начавшие это?

«Подморозить»? Значит, и мы входим в круг тех же дилемм.

Раскачка задана еще на два поколения. Потом пойдет обратное.

Для этого образуются и условия: конец урбанизации, оформление сословий и их сознания.

Нельзя бояться.

15.08. *Противники революционизма идеализируют русскую власть. Между тем русский революционизм заимствовал методы у русской власти: узурпация, террор, отъем, непризнание закона.*

1979

25.01. *Постоянно происходит диффузия прозы и поэзии. Пушкин назвал «Онегина» романом, Гоголь «Мертвые души» — поэмой.*

Некрасов вводит прозу в поэзию, Тургенев — поэзию в прозу.

Ахматову производят от прозы.

То же думал о себе Твардовский.

Деревенская проза идет не от Овечкина и Яшина, а от Твардовского.

Твардовский написал последнюю былину — «Теркина». Не знаю, будут ли его читать через сто лет. Может быть, и будут, если «всеобщее» сознание мало продвинется и высокое будет постигаться народом только путем подвига и самоотречения, то есть путем самоуничтожения. Эту черту России Твардовский выразил очень точно.

Высокие понятия не в материи жизни, а в предсмертном порыве.

7.03. *От чисто фашистского образа мыслей нас спасает привычка к брехне, идеализм лжи. В нас есть десятилетиями воспитанный сентиментализм, мешающий все жестко додумать до конца, до голой схемы.*

Наверное, до поры до времени правящему слою невыгодно, чтобы в любую сторону было додумано до конца.

28.06. *Мысли умного человека, с которым несогласен, не раздражают. Раздражают мысли глупого человека, с которым согласен.*

30.09. *В современной российской мракобесной мысли, которая воистину завладела массами, антисемитизм играет непомерно большую роль.*

Свидетельство скудости этой мысли.

Но, кажется, дело дошло уже до стенки.

Отрезвляющееся общество, естественно, должно задать себе вопрос: неужели нация настолько ничтожна, что кучка иудеев могла разложить царизм, другая кучка — произвести революцию в великой стране, а третья — устроить тридцать седьмой год или коллективизацию, разрушить церковь и т. д., и до сих пор разрушает экономику, традицию, культуру, нравы и т. д.

Что же это за нация?

Англичане или французы никогда не позволят себе думать так.

1980

8.08. *Декабристы «покаялись», потому что почувствовали, что подвиг их только начался 25 декабря и что им нужно покаяться в намерении стать на место власти.*

25.08. *Ошибка в том, что путают науку со знанием. Наука лишь часть знания.*

Мы знаем больше, чем наука!

21.12. *Время на демократизацию «сверху» было безнадежно упущено в конце 50-х — начале 60-х годов. Времени было отпущено мало — 4—5 лет. «Новый класс» еще не вкусил непосредственность власти. Его посредствующей инстанцией был сталинизм, который мог пресечь слишком грубую жажду хорошей жизни. Диктатура Сталина в известной мере сдерживала претензии «нового класса».*

В пору, когда органы «нового класса» — аппарат, ГБ, армия — были растеряны натиском Хрущева, возможен был «переворот сверху» в пользу демократии.

Хрущев не выполнил своей исторической миссии, ибо не поверил в интеллигенцию.

После него настала диктатура расхитителей и безнадежная эволюция.

Изучая эволюцию чего угодно, даже зажигалок, мыслящий человек может предсказать ближайшее состояние общества.

1981

29.01. *Главное свойство жизни — самосохранение. Поэтому жизнелюбивые натуры эгоцентричны. В смерти мы боимся утраты нынешнего состояния, не думая о состоянии грядущем.*

Труднее всего смерть для материалиста, даже для такого сопротивляющегося материализму, как Толстой.

Родина это не там, где хорошо или плохо, а без чего нельзя, как рыбе без воды.

Я, при тоске по вселенскому, в сущности не космополит, а почвенник.

31.01. *Сейчас почвенники все. Но множество оттенков — от просветительства и сохранения культуры (Лихачев) до этнографического экстремизма и ненависти ко всему «чужому».*

Либеральное почвенничество явилось в результате крушения «вселенской» идеи, как естественная антитеза. Такого рода почвенничество было близко нам даже в конце 30-х годов (Коган, Кульчицкий), хотя тогда казалось не отказом от «вселенской» идеи, а уточнением ее.

Крайнее почвенничество произошло в результате крушения деревни и стало идеологией «полународа». Оно сразу отыскало себе духовных отцов среди славянофилов конца века.

Ибо этого рода почвенничество тесно связано с властью. Поскольку власть у нас народная, а скорее, «полународная», то есть отражающая состояние «полународа».

7.02. *Поэзия 80-го года сплошь ретроспективна. Ее тема — память. Двадцатилетние вспоминают себя десятилетними, тридцатилетние — двадцатилетними и т. д.*

Отсутствие энергии в настоящем и перспективы в будущем обращает поэзию в прошлое.

Нравственная ретроспекция деревенской прозы сильно повлияла на поэзию. Множество поэтов стали тянуться позади прозы.

Это признак упадка, отсутствия свежих идей.

6.05. *Х. говорит: жаль, что в наше время нет Пруста, который умел с такой подробностью писать полноту жизни.*

Для этого у нас не хватает самоуважения. Подробность стиля зависит от самоуважения. Иногда оно бывает пустое.

19.05. *Гений не отличается от народа, он и есть народ в его точнейшем воплощении. Эта мысль Пастернака в высшей степени относится к Высоцкому.*

Народ сам выбирает гения, назначает его.

В том состоянии, в каком находится народ, ему нужен именно Высоцкий, художник синкретический, впитавший и воплотивший всю сумятицу вкусов в нечто высшее и вместе с тем доступное.

25.05. *О нашем времени можно сказать словами Герцена: «Его лихорадит, оно несет на себе следы продолжительной инкубации болезненных элементов, и весьма сомнительно, чтобы его можно было ускорить, не опасаясь злополучного кризиса или выкидыша.*

Итак, надо дать пройти кризису, надо нетороплива следовать за природой и овладеть ею при первой же возможности; но прежде всего — надобно уметь ждать. Это очень тяжело для стариков — быть может, тяжелее, чем для молодых,— но это касается только нас лично. Это неизбежно».

Наши диссиденты похожи на декабристов не больше, а скорее меньше, чем Чацкий.

Одна из версий его будущего — отъезд на Запад. Вообще, отъездом кончается комедия.

Репетиловщины у наших больше, чем у декабристов.

Декабристы отправлены были на Восток, тридцать лет просвещали Сибирь и вернулись в Россию.

Диссиденты отправлены были или отправились на Запад.

На Лобном месте — их Сенатской — было семь человек. У декабристов — гораздо больше, чем «сто прапорщиков».

Поражение декабристов их соединило.

Поражение диссидентов их разъединило.

Декабристское дело оказалось выше поражения. Именно после него сформировался высокий, образцовый для России нравственный тип. Диссиденты такого типа не создали.

Декабристы оказались после Сенатской, где они были людьми порыва и мечтания, людьми дела, людьми просвещения.

Диссиденты после Лобного оказались людьми слова. Слова иногда умного, но чаще поверхностного и пустого.

Декабристы всегда ставили целью исправление России и продолжали его, даже потерпев поражение.

Диссиденты охотно критикуют Россию.

Декабристы не ставили Запад России за образец.

Все это сказано не в укор диссидентам. Их обстоятельства были другие.

Декабризм оказался неповторим.

31.07. *Поэт не должен тягаться с властью. Он должен быть мудрей спора с ней. Иначе он станет на уровень власти.*

1.08. *Власть может быть плохая и очень плохая. Но человечество нуждается в ней. Власть — форма общества и способ распределения (причем себе отваливаются лучшие куски). Власть унимает буйствующего индивида и заставляет его жить в обществе.*

Закон, установленный властью, неминуемо несправедлив, но он как-то балансирует и отчасти учитывает разные интересы.

Власть неминуемо бездарна, ибо призвана фиксировать и сохранять, а не провидеть и изменяться.

Творческие начала лежат вне власти, в других аппаратах общества.

1982

31.01. *Поэт должен поступать с собой, как учитель с плохим учеником: ставить себе заниженные отметки, карать за дурное поведение и порой выгонять из класса.*

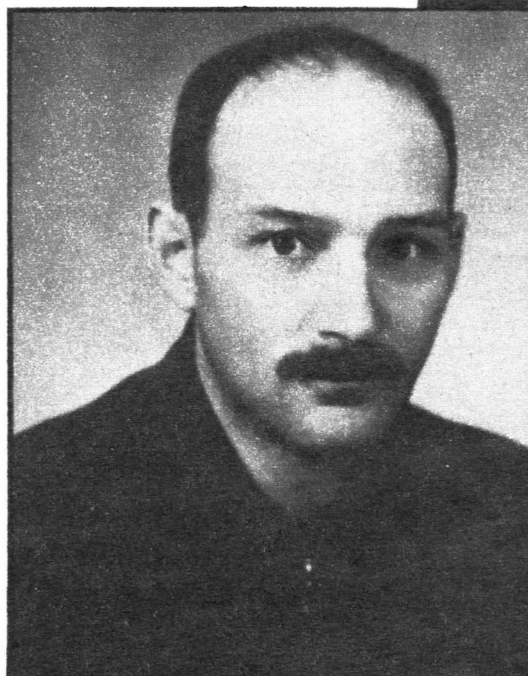
23.02. *В России было пять истинных умов. Пушкин — ум эстетический, Герцен — гражданский, Достоевский — духовный, Толстой — нравственный. И Ленин — ум политический.*

7.03. *В массовой культуре от средневековья до наших дней есть одно общее свойство: ее фантастичность. Основа ее — вымысел.*

19.09. *Главная мысль наших исторических писателей (Давыдов, Эйдельман), что заговор невозможен без нечаевщины, то есть без обмана (или самообмана). Это разочарование в диссидентском деле. Честолюбие и тщеславие — неизбывные категории заговора. Все это верно от Пугачева до наших дней. Отсюда ориентация на «одинокие фигуры» (Чаадаев, Лунин, Лопатин).*

Одинокие фигуры нашего времени — Сахаров, Чуковская, в известной мере — Даниэль.

Публикация Г. И. МЕДВЕДЕВОЙ



В. Красин.





Жена Красина — Надежда Павловна.

Виктор КРАСИН

СУД

За последние два года журнал «Огонек» опубликовал несколько статей, посвященных диссидентскому движению в СССР. В этих материалах наши правозащитники вполне заслуженно выступали в роли борцов за создание правового государства. Безусловно, многие из них теоретически и практически подготовили сегодняшнюю перестройку. Писали мы и о том, как власти жестоко и часто бессмысленно расправлялись с правозащитниками. Многое из истории диссидентства нам еще предстоит узнать... Публикуемые нами отрывки из книги Виктора Красина «Суд» (Chalidze publications, New York, 1983) относятся к одним из самых трагических событий этой истории.

Виктор Красин и Петр Якир к началу 1970-х годов стали идейными и организационными лидерами правозащитников. В 1972 году они были арестованы, а год спустя их судили. На суде они полностью признали себя виновными, раскаялись перед властями, а главное — осудили все правозащитное движение, назвав следствию конкретных людей и рассказав об их поступках, которые можно было бы квалифицировать как нарушение 70-й статьи УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). В 1974 году они оба были помилованы решением Верховного Совета СССР.

«Суд» В. Красина — книга в нравственном отношении чрезвычайно смелая, это беспощадный приговор самому себе за малодушие, тщеславие и трусость, проявленные во время следствия и судебного процесса. Виктор Красин винит только самого себя, не пытаясь свалить хотя бы маленькую часть своих проступков на обстоятельства или какихлибо людей. Это суд собственной совести. Писать такую книгу, по признанию автора, было мучительно. Возможно, кому-то и читать ее будет не менее трудно — по крайней мере тем, кто в акте покаяния не видит самый верный путь к обретению внутренней свободы.

В. ВИГИЛЯНСКИЙ

В августе 1973 года в Москве состоялся суд над Петром Якиром и мною. Нас обвинили по статье 70-й УК РСФСР — в пропаганде, направленной на подрыв советского строя.

На следствии и суде мы дали показания на многих участников правозащитного движения, признали себя виновными в преступлениях против Советского государства и раскаялись. Через несколько дней после суда, в сентябре 1973 года, на пресс-конференции для иностранных журналистов мы повторили то, что говорили на суде...

Со дня моего освобождения прошло около десяти лет...

Все эти годы мы с женой постоянно возвращались к тому, что произошло на следствии. Мучительно было об этом говорить, но и не говорить мы не могли. Потеряв надежду, что я смогу написать обо всем сам, я попросил Надю помочь мне и обсудить все происшедшее еще раз от начала до конца в надежде, что я наконец смогу сказать правду.

Мы говорили много вечеров подряд. В этой книге я постарался кратко передать главное, о чем мы говорили.

Апрель, 1983 год

— Еще до слома на следствии 1972—1973 гг. ты совершил некоторые недостойные поступки. Может быть, стоит начать с этого?

— В сибирской ссылке, в Подтесово, в конце 1970 года меня вызвали на допрос. Из Красноярска приехал следователь КГБ Белоусов...

Он сказал, что если я напишу заявление, пообещав прекратить свою деятельность в правозащитном движении, то мне разрешат вернуться в Москву. И вот, вместо того чтобы отказаться даже обсуждать эту тему, я сказал: «Я готов дать такие заверения, но только устно». Он ответил, что устным заверениям не поверят, но обещал выяснить у начальства. Договорились, что через недели две он сообщит ответ.

То, что происходило со мной дальше, было еще гаже. Целый месяц я только и обсуждал с тобой: отпустят ли меня в Москву? когда? на каких условиях? Ни о чем другом не мог думать. Никогда не забуду, как однажды, когда мы возвращались из тайги и я снова заговорил о возвращении в Москву, ты вдруг упала на землю и зарыдала, повторяя: «Как тебе не стыдно? Как ты можешь?» А я стоял растерянно, не понимая, что с тобой происходит. Я никого не предаю, а участвовать или не участвовать в движении — это мое дело...

Из ссылки я вернулся в сентябре 1971 года, отбыв около двух лет вместо пяти. Прокуратура опротестовала мое дело о тунеядстве, а Верховный суд РСФСР отменил приговор. Это решение до сих пор остается для меня загадкой. Очень настойчиво хлопотала моя мать, но чьи матери не хлопотали? Без санкции КГБ Верховный суд приговоры по диссидентским делам не отменяет.

Эпизод с Белоусовым был первым в ряду тех поступков, которые я назвал словом «порча» и которые в конце концов подготовили слом и сдачу на следствии.

Когда я вернулся из ссылки, ты была в тюрьме за демонстрацию на Пушкинской площади. И как только появилась возможность, я начал торги о тебе. Недели через две после возвращения, в конце сентября 1971 года, меня вызвали в Московское управление КГБ.

Разговор зашел о тебе. Он спросил, хотел бы я поговорить о твоем будущем с «компетентными товарищами». Я сказал, что хотел бы. Он позвонил кому-то по телефону и пригласил меня пройти с ним. В кабинете ждали двое. Это оказались Карпович и Володин — начальство из оперативного отдела Московского управления КГБ, ведавшего диссидентами. Разговор продолжался часа два. Принесли кофе и булочки. Я выпил кофе и съел булочку, не испытав даже чувства гадливости. Они сыпали именами и эпизодами, проявляя чрезвычайную осведомленность о наших делах. Затем один из них сказал: «Ну, давайте к делу. Вы ведь о Надежде Павловне хотели поговорить. Что вы, собственно, предлагаете?» Я сказал, что хочу, чтобы тебя выпустили... «А что, если ваша жена получит ссылку?» Я сказал, что так же, как ты поехала в ссылку за мной, так и я поеду за тобой. Мой ответ их, видимо, удовлетворил.

На твоем суде прокурор Бирюкова, разразившаяся громовой обличительной речью, кончила тем, что попросила для тебя ссылку вместо лагеря. Судья, разумеется, дал то, о чем она просила.

Затем начались торги о месте ссылки. Я просил Володина — поближе к Москве... В конце концов он объявил мне, что местом ссылки выбран Енисейск, из которого три месяца назад вернулся из ссылки я. «Там начальство вас уже знает. Легче будет и им, и вам...» Ты получила ссылку, я был счастлив, что выторговал тебя у них. А через год меня арестовали снова.

— Итак, что происходило после ареста?

— На четвертый или пятый день утром Александровский не торопился начать допрос. Он прохаживался по кабинету, как бы обдумывая, что сказать. Потом он спросил: «Как настроение?» «Нормальное,— ответил я.— Плохое настроение бывает обычно в первый день, когда осознаешь, что ты арестован и что это надолго». «Не скажите,— возразил он,— бывает в жизни арестованного день похуже, чем первый». «Какой же?» — спросил я, не понимая. «А последний,— сказал Александровский,— для тех, кого приговаривают к высшей мере». «Но мне предъявлена 70-я статья, а она не предполагает высшей меры». «Статья в ходе следствия может измениться,— сказал Александровский, значительно улыбнувшись.— Могут открыться различные дополнительные обстоятельства. В вашем случае это вполне вероятно». Так был сделан первый заход. Еще дня через два-три после очередного тура угроз и запугиваний он сказал: «Если вы не поумнеете, то вас ожидает такой же конец, как героя романа Гюго «93-й год». «Я не читал этой книги»,— ответил я. «Жаль,— сказал Александровский,— а то бы вы поняли, что я имею в виду». Когда меня перед отбоем привели в камеру, на столе лежала стопка новых книг. Каково же было мое удивление, когда среди книг я обнаружил роман Гюго. Я присел на койку и жадно прочел конец. Угрозы смертной казни носили потом гораздо более прямой характер, но никогда я не испытывал такого чувства обреченности, как в эту ночь, читая Гюго.

— Почему ты не потребовал, чтобы Александровского заменили?..

— Во-первых, эти первые угрозы еще не были прямыми, а носили, так сказать, литературный характер. Во-вторых, я собирался опротестовать его действия. На десятый день, когда мне предъявили обвинение, я хотел обратиться к прокурору. О том, что он будет присутствовать на этом допросе, Александровский предупредил меня заранее.

Не пожаловался же я потому, что Илюхин, прокурор по надзору за КГБ, вел себя еще более агрессивно, чем Александровский...

— Но ты мог написать заявление на имя Генерального прокурора или руководству КГБ.

— Я побоялся поднимать этот вопрос, чтобы не было хуже. Я боялся, что, если я напишу об этом заявление, то начальство КГБ в ответ на мою жалобу предъявит мне 64-ю статью.

— Но сейчас другие времена. За распространение самиздата сейчас не расстреливают.

— Да, конечно. Но мне инкриминировали не только распространение самиздата. Полтора года я передавал иностранным корреспондентам документы о преследованиях в СССР. Материалы эти публиковались в западной печати. Я получал литературу, а впоследствии и деньги от западных туристов, приезжавших с поручениями от НТС. И не только пассивно получал, но и просил сам: писал письма, в которых говорил, что присылать, что не присылать. Давал адреса, куда привозить.

Как относится КГБ к связям с этой эмигрантской организацией, ставящей целью вооруженное свержение советской власти,— известно. Поэтому, когда Александровский говорил о 64-й статье и расстреле, это не звучало для меня пустой угрозой...

Кроме того — и это повлияло на меня в не меньшей степени,— Александровский постоянно внушал мне, что, если я не изменю свою позицию, то меня расстреляют в качестве примера... Он говорил, что наше дело раз в неделю докладывают Андропову.

В течение этих двух месяцев я не дал ни одного показания. Отказывался отвечать на любые вопросы. Меня ежедневно держали на допросах с 10 утра до 10 вечера с часовыми перерывами на обед и ужин. В том числе и по субботам, а иногда и по воскресеньям. Ночами я почти не спал, мучаясь от страшных головных болей и бессонницы. Засыпал в 2—3 часа ночи, а в 6 — подъем. За эти два месяца мне предъявили сотни показаний против меня. Я продолжал отказываться отвечать на вопросы. Не нужно думать, что я уж так легко и просто сдался...

— Значит, ты решил пойти с ними на компромисс?

— Да, и сдачу литературы я выбрал в качестве пробного шага.

— Но тебе пришлось назвать имена тех, у кого она хранилась.

— Я как-то очень легко уверил себя, что им ничего не грозит. Это были мой брат, а также один мой приятель. К правозащитному движению они никакого отношения не имели. Книги и фотопленки у них просто хранились. Третьим человеком была ты...

Первая встреча была с моим приятелем. У него хранилась вся моя коллекция самиздатских фотопленок, катушек до 100, на которых было отснято большое количество неподцензурных книг и материалов правозащитного движения. Фотокопии с этих фотопленок широко ходили. Несколько фотокопий было изъято на обысках.

Я уже был в кабинете, когда его привели. Хоть это и не разрешается, я встал и подошел к нему. С жалкой улыбкой я сказал, что не могу ничего ему объяснить, но у меня сложилось очень тяжелое положение, и я вынужден сдать фотопленки... Тут вступил Александровский. «Можете не беспокоиться, ни один волос не падет с вашей головы. Сдадите пленки и поедете домой к жене. Даже на работу не сообщим».

Что ему было делать? Я его выдал. Между прочим, оказалось еще хуже. После моего ареста, боясь обыска, он перенес пленки к своему знакомому, и ему пришлось ехать с гебистами туда. Его знакомого дома не было, была жена. Она ничего не знала. Мой приятель долго искал эту коробку с пленками где-то на чердаке, среди хлама, никак не мог найти. Наконец нашел. Так, первый же мой безответственный поступок поставил под угрозу несколько человек.

— Когда ты сказал Александровскому, что часть книг у меня?

— На том же допросе, когда рассказал об остальных материалах. Он сказал, что полетит в Енисейск сам.

— Тебя не удивило, что он собственной персоной собирается в Енисейск, чтобы изъять два десятка книг?

— Нет, не удивило. Это был предлог. На самом деле он ехал, чтобы выяснить, нельзя ли через тебя воздействовать на меня. Он и мне предлагал лететь с ним. Перед отъездом Александровского в Енисейск я сказал ему: «Показания на участников правозащитного движения я давать не буду ни при каких обстоятельствах. Я готов признать показания тех, кто показывает на себя и меня, и только. Я понимаю, что одно это вас не удовлетворит. Вам нужен показательный процесс. Я готов признать себя виновным на процессе, но я не сделаю этого, пока не поговорю с Надей. Привезите ее в Москву, и дайте мне с ней увидеться. Я хочу знать, что есть хоть один человек на свете, кто будет ждать меня».

— Ты хотел сделать меня участником своего решения.

— Это мягко сказано. На самом деле я хотел переложить ответственность за это решение на тебя. Так и получилось. Ты взяла на себя мой грех. Все, что произошло с тобой дальше, было исполнением моей мольбы. Ты приняла на себя ответственность за мой слом... А потом, в один печальный вечер меня привели в кабинет, и там была ты.

Помню, как ты встала, подошла ко мне, положила голову на плечо и заплакала. Ты сказала: «Ты знаешь, я даю показания». Я был поражен и в то же время как бы не очень. Я спросил: «И о Толе тоже?» Я считал, что о вашей совместной работе по выпуску «Хроники текущих событий» они не должны знать ни в коем случае, поскольку Якобсон был одним из наиболее вероятных кандидатов на арест. Ты сказала: «И о Толе тоже». Мной овладел гнев. Я начал кричать, что я не для этого просил привезти тебя на следствие, а для того, чтобы поговорить с тобой: что если я не буду давать показания, то твои показания меня не спасут... Это была именно истерика, а наутро я смирился с тем, что произошло. Был как бы выполнен ритуал, или я бы еще сказал: я доиграл благородную роль до конца. Спектакль окончился, и надо было возвращаться к реальности.

Я не спал всю ночь. Ходил от двери до окна, пять шагов туда, пять обратно. Твое поведение оказалось как бы полной неожиданностью, но я не испытывал чувства возмущения или даже недовольства. Главная же мысль была: что ты это сделала ради меня. Под утро в камере я написал на руке крупными буквами: «64-я. Расстрел». Я очень боялся, что при личном обыске они обнаружат эту надпись. Но сошло. В кабинете, когда окончилась официальная часть, Александровский разрешил тебе подсесть к моему столику. Я долго не решался. Наконец, улучил момент, когда он писал протокол, и быстро закатал рукав рубахи и так же быстро опустил его. Но ты успела прочесть.

— Да, я успела прочесть и никогда не забуду твое лицо в эти секунды. На нем был ужас...

— Как-то на допросе — это было в конце ноября — начале декабря — Александровский сказал: «Я знаю — вы большой любитель чая. А в тюрьме какой чай? Подкрашенная водичка небось?» На столе уже стояли пачка чая, пачка сахару, два стакана и кипятильник. «Только не подумайте, что я хочу таким способом добиться ваших признаний». Он заварил чай. Я недолго колебался. Взял стакан и начал пить чай. С тех пор чай прочно вошел в мое бытие на допросах... Как-то раз он сказал: «У вас, может быть, появилось подозрение, что я что-нибудь подмешиваю в чай. Так сказать, обрабатываю вас химией... Выбросьте это из головы. Это самый обычный индийский чай из магазина».

— Что было еще, кроме чая?

— Незадолго до Нового года Александровский сказал: «У вас ведь язва желудка. Надо бы вам устроить больничное питание. Это не так просто, но я постараюсь». Он постарался, и вскоре мне стали давать больничное питание. Я не отказался... Тоже перед Новым годом он сообщил мне, что будет хлопотать, чтобы мне как больному разрешили дополнительную передачу. Под Новый год я получил первую и затем получал их каждый месяц до самого освобождения. Все эти подачки я принимал еще до того, как согласился давать показания в январе 1973 года. Позже, зная, что я курил на воле «Беломор», а в тюремном ларьке его нет, он стал приносить эти папиросы. Я курил их в его кабинете, а иногда несколько штук носил в камеру. Одной из очень важных подачек было лекарство от головной боли. Меня мучили страшные головные боли, особенно по ночам, после допросов... Хотелось голову разбить о стену... В декабре, когда я снова пожаловался Александровскому на головные боли и что в тюрьме ничего не дают, он спросил, каким лекарством я пользовался на воле. Я назвал пенталгин. Он сказал, что разрешит матери передавать ему, а он будет давать мне по мере надобности, но только на допросах. Вначале он давал мне по одной таблетке, но через некоторое время, когда я жаловался на головную боль, стал класть пачку прямо на мой столик: мол, берите, сколько надо. Дело в том, что в пенталгине есть кодеин. Две-три таблетки производят известный эффект, который на лагерном языке называется «плыть»... Так что, честно говоря, я сам себе устраивал «химию». Ему оставалось только потворствовать, что он и делал.

Но главное — это было разрешение переписываться с тобой, а впоследствии и видеться на очных ставках, которые только по форме были очными ставками, а на самом деле — свиданиями в кабинете Александровского...

Многого Александровский достиг лестью, очень действенной по отношению к честолюбивым и тщеславным людям, а я был таким. Он не жалел времени, чтобы внушить мне, что мы (Якир и я) являемся лидерами движения. «Никакие там ни... (назывался ряд известных имен), а вы — подлинные лидеры». Люди шли именно за нами, и поэтому мы должны осознавать, какая громадная ответственность лежит на нас за будущее наших товарищей... Мы можем спасти их от ненужного ареста. Мы должны честно сказать, что мы заблуждались, что, начав с невинных протестов, скатились на путь борьбы с советской властью; что теперь наконец это осознали и призываем своих товарищей остановиться. Этот путь труден. Многие не поймут, по крайней мере сразу не поймут. Нас будут хаять и поносить. Называть «предателями» и «ренегатами». Но мы должны быть выше этого...

Он постоянно возвращался к этой теме, солировал иногда по 2—3 часа кряду, будучи уверен, что в конце концов заразит меня этой скверной. И он не ошибся. Не ошибся он вот в чем: он понимал, что сдаться просто так я не могу, что мне нужны какие-то моральные оправдания. И он подсовывал мне

эту апологетику предательства под видом благородного поведения. Я сделаю это не ради спасения собственной шкуры. Я жертвую собой ради других. Да, я приму позор, но спасу десятки людей от бессмысленного ареста и, может быть, гибели в лагере. Мое письмо на волю, заслуженно встреченное с таким гневом, написанное в марте — апреле 1973 года, выразило многие из «идей», которые Александровский внушал мне в ноябре — декабре 1972 года...

Кроме «лидерства», постоянной темой был мой антисоветизм. Эта линия выглядела так: «Вы не прячьтесь за Советскую Конституцию и Декларацию прав человека ООН... Вы только прикрывались этими лозунгами, а на самом деле вы боролись против советского строя... Кто говорил, что Кремль нужно взорвать, а это место разровнять бульдозерами? Вы. Кто говорил, что Октябрьская революция была катастрофой для России и что большевики погубили народы России, превратив их в покорное стадо? Вы. Что в СССР в угоду коммунистической идеологии удушается всякая свободная мысль и что КПСС осуществляет самую невиданную в истории диктатуру и насилие над человеческой личностью? Что террор есть самая сущность советской власти? Все это вы говорили. Мотивы вашей деятельности были отличны от мотивов, которыми руководствовалось большинство. Под прикрытием лозунгов о демократизации, соблюдении правовых норм и т. д. вы вели идеологическую борьбу с советской властью. И это еще не все. Вы настолько люто ненавидите коммунизм, что не остановились перед тем, чтобы вступить в связь с НТС — организацией, ставящей целью вооруженное свержение советской власти... Если вы не поумнеете, то вам будет предъявлена 64-я статья со всеми вытекающими последствиями — и вы знаете, какими... Только признание своей вины перед советским народом и искреннее раскаяние могут спасти вас»...

Обработка, которой я подвергался в кабинете Александровского, продолжалась и в камере. Первые пять месяцев моим сокамерником был Игорь Е. Он уже отбыл в лагерях несколько лет за валюту... Я рассказал ему вкратце о своем деле. Он принял самое горячее участие в обсуждении моего будущего. «Тебе грозит высшая мера. Плюнь на все. Сохрани свою жизнь. Это же КГБ! Они тебя поставят к стенке и не поморщатся. Ты же старый лагерник, не мне тебя учить. А друзья повесят твою фотографию. Будешь этим утешаться». «Я не могу давать показания на друзей. Это — подлость». «Какая подлость? Что будет твоим друзьям? Вызовут пару раз на допрос? Ты, правда, идиот. Делом руководит сам Андропов...»

Когда я сдался, я делал, по существу, то, в чем так настойчиво убеждал меня Е. «Дай им что-то. Но и возьми с них. Они выпустят тебя на волю». Я дал им не «что-то». Я отдал им свою совесть и честь. Они выпустили меня на волю.

Е. тоже выпустили на волю после окончания нашего дела. Я случайно встретил его в метро. Он бросился обнимать меня. «Видишь, я был прав. Ты вышел на волю»...

* * *

Около месяца я писал собственноручные показания...

— О чем же ты писал в этих собственноручных показаниях?

— Обо всем, с самого начала...

— То есть ничего не скрывая, обо всем и обо всех?

— Нет. Не обо всем и не обо всех. Я рассказывал только о том, что уже имелось у них в показаниях...

Начался период очных ставок. Очные ставки принадлежат к наиболее позорным эпизодам моего следствия. О них очень стыдно рассказывать, особенно о некоторых, но я должен это сделать.

На одном из допросов в начале следствия Александровский сказал мне: «Вы упорствуете, не даете показаний, но помните мои слова: придет время, и мы будем вместе с вами допрашивать ваших диссидентов в этом кабинете». Я тогда рассмеялся... И вот прошло несколько месяцев, и я уговаривал моих товарищей последовать моему примеру.

Для репетиции была выбрана Ира Белогородская, арестованная в начале января 1973 года. Перед каждой очной ставкой Александровский подготавливал меня... Об Ире Александровский сказал мне, что она показаний не дает, ведет себя вызывающе, следователей называет «сталинскими соколами» и таким поведением только усугубляет свое положение на следствии.

Мы сидели в кабинете за моим следственным столиком, и я в первый раз излагал мои «новые взгляды». Сопротивляться бесполезно. Нас все равно раздавят. Так зачем же напрашиваться на максимальный срок? Поняв это, Петр и я пошли на компромисс с ГБ. Ты должна поступить так же. Ира смотрела на меня удивленно и растерянно. Она не ждала от меня подобных советов. «Почему? Почему? Я не понимаю, что изменилось?» — повторила она несколько раз. Я заученным тоном опять объяснял ей, что все теперь изменилось... Ира не дала мне ответа. Сказала, что подумает. Позже она начала давать показания, и ответственность за ее слом будет всегда лежать на мне постыдным грузом.

После удачной репетиции Александровский решил, что настало время показать меня широкой публике. «Если вы спасете хоть одного-двух человек от ареста — это достаточная награда».

Для того чтобы сообщить мои «новые взгляды» на волю, был выбран Ю. Гендлер.

Нам разрешили сесть рядом, и я излагал ему теорию «осажденной крепости» и необходимости капитуляции. Гендлер сказал, что он передаст все подробно нашим друзьям, но сомневается, чтобы мои «новые взгляды» были встречены сочувственно, особенно теми, кто сидит в лагерях.

Следующим, кого я уговаривал избежать «бессмысленного ареста», был о. Сергий Желудков... О. Сергий отказывается подтвердить мои показания. Он говорит, что он священник, и его убеждения не позволяют ему давать показания на арестованных. Я продолжаю уговаривать о. Сергия. Он грустно смотрит на меня. Вмешивается Александровский и начинает грубо на него нажимать. У о. Сергия дрожат руки. Он говорит, что у него нет самиздата и ему нечего сдавать...

Разговор с Гариком Суперфином на очной ставке — одно из самых подлых дел, которое я сделал на следствии. Очной ставке с Гариком предшествовал довольно странный разговор. Александровский спросил меня, кого, по моему мнению, они арестуют следующим. Я отказался гадать на эту тему. Он настаивал: «Вы так хорошо разбираетесь в диссидентских делах, что, очевидно, можете предугадать, кто следующий кандидат». Мне бы молчать, но из самолюбия я ляпнул: «Наверно, один из кандидатов у вас теперь Суперфин». «Вы угадали,— сказал Александровский.— Материал на него большой, и мы можем его арестовать хоть сегодня. Но мы не кровожадны. Вы имеете возможность убедиться в этом. У Суперфина есть значительный архив. Пусть сдаст его, и, слово следователя КГБ, мы его не арестуем. Согласны ли вы поговорить с ним на эту тему?» Я сказал, что должен подумать. Я сказал тоже, что архива у Гарика может и не быть, что, боясь обыска, он мог рассовать его по знакомым. «Ну, если у него нет архива, пусть сдаст хоть что-нибудь. Пусть наберет мешок самиздата и принесет, а если он боится сдать нам в руки, пусть придет ночью и поставит его на крыльцо». «На какое крыльцо?» — спросил я. «На крыльцо Лефортовского следственного изолятора»,— сказал Александровский. «Вы что — смеетесь?» «Нет, я говорю совершенно серьезно». «И в этом случае вы его не арестуете?» «Не арестуем»...

И вот Гарика ввели в кабинет. Он сидел метрах в трех от меня, с совершенно отрешенным и как бы отсутствующим видом.

Я сказал Гарику, что над ним нависла угроза ареста, но что его можно избежать. «Сдай им архив, уезжай на год из Москвы, и они оставят тебя в покое». «У меня нет архива»,— сказал Гарик. «Ну, собери тогда какой-нибудь самиздат и принеси им. Это их устроит...» «У меня нет ни архива, ни самиздата»,— сказал Гарик. Очная ставка окончилась.

Через несколько месяцев Гарика арестовали. Александровский сказал: «Ну, вот: он не послушал вашего совета и теперь сидит в Лефортове. А мог бы избежать ареста».

После ареста Гарик показания давал, но в ходе следствия и на суде от них отказался. И это его ответ мне. Ответ верующего человека заблатненному лагернику, спасавшему свою шкуру. И в том мучительном процессе, который происходил во мне все эти годы, в безуспешных попытках сказать правду самому себе образ человека, восставшего из глубины падения, постоянно стоял перед моим духовным взором. И так же, как я толкал его на низости, так же и он — но только в прямо противоположную сторону — звал меня очиститься от той скверны, в которую я погрузился по своей собственной воле.

Очная ставка с Ильей Габаем была посвящена эпизоду, которому КГБ придавал чрезвычайно важное значение, поскольку эпизод этот шел под рубрикой «организационная деятельность».

Весной 1968 года, вскоре после окончания процесса Галанскова — Гинзбурга, несколько человек собрались, чтобы обсудить итоги этого процесса и особенно невиданное доселе количество писем-протестов и подписей.

Эпизод этот я признал. Габай отказался подтвердить мои показания... Александровский сел писать протокол. Илья спросил, может ли он задать мне вопрос. Александровский разрешил. «Ты даешь показания потому, что их дает Петр, или по другим причинам?» Александровский вскочил. Он кричал, что это провокационный вопрос, что он вправе как следователь не разрешить мне на него отвечать. Наконец он сказал: «Ну, хорошо. Пусть Красин ответит». Я ответил: «Ты мог бы и не задавать мне этот вопрос. Ответ на него ясен и так». Илья сказал: «Тогда все понятно». Что же понял он из моего ответа? Что я даю показания потому, что их дает Якир? Скорее всего — так. Но это неправда. Я ввел Габая в заблуждение...

Очная ставка с Юрием Мальцевым была посвящена передаче документов на Запад.

— Ты признал, что просил Мальцева передавать западным корреспондентам материалы правозащитного движения?

— Да, признал.

— А Мальцев?

— Он все отрицал.

— На кого еще ты дал показания в связи с передачей документов на Запад?

— На Амальрика. Его допрашивали по моим показаниям в Магадане.

— Он тоже отрицал твои показания?

— Да...

— С кем еще у тебя были очные ставки?

— Была очная ставка с Ирой Якир... На этой очной ставке — для этого Александровский и устроил ее — я передал Ире мое письмо на волю, в котором, используя всевозможные демагогические доводы, я доказывал, что конец правозащитного движения неизбежен, и, стало быть, надо капитулировать с меньшими жертвами. Мне рассказывали потом, какое возмущение вызвало чтение этого письма...

— А с Петром у тебя были очные ставки?

— Да. Две или три. Поводом для очных ставок были расхождения в наших показаниях, впрочем, незначительные.

Петром руководил только страх. Это было написано на его лице, слышно в его голосе, даже в позе, в которой он сидел на стуле, а я делал вид, что по-прежнему не боюсь, а веду себя так только потому, что нет другого выхода, и все решения принимаю сознательно. Это, по-моему, особенно гнусно, так как на самом деле я боялся так же, как и он...

А теперь я расскажу эпизод с деньгами от НТС.

В конце следствия, когда объем показаний мне был хорошо известен, я обнаружил, что о получении четырех тысяч рублей от НТС они не знают...Петр, по-видимому, не рассказал об этом эпизоде, потому что он боялся: если они захотят все-таки переквалифицировать дело на 64-ю, то этот эпизод будет для них просто находкой.

— Почему же ты решил о нем рассказать?

— Потому что если бы этот эпизод стал известен, особенно после закрытия дела, то последствия могли бы быть самые нежелательные... Дело могли вернуть на доследование: а вдруг еще что-нибудь очень важное не раскрыто. Чтобы не произошло никаких непредвиденностей, и я решил этот эпизод рассказать... Как мы встретились с французами — представителями комитета Божара, и я просил их привозить не только литературу, но и деньги. Как через несколько месяцев приехал представитель итальянской группы Европа Чивильта и привез 4000 рублей.

— Тебе пришлось назвать, кроме Петра, меня и Вали Савенковой, еще и совсем постороннего человека, согласившегося по доброте держать у себя дома эти деньги. Этот человек даже не знал, что это за деньги и откуда они.

— Да. И это тяжкий мой грех. Но, как я уже говорил, я в то время о таких «мелочах» не думал. Я продолжал разыгрывать шахматную партию, и люди были для меня только фигурами в этой игре...

* * *

И вот наступил день суда. Он начался 27 августа 1973 года...

В зале моя мать. Жена и дочь Якира. Из друзей же никого. Не допустили даже близко к суду иностранных корреспондентов. Их машины останавливали в полукилометре от здания суда.

Суд начался. Зачитали обвинительное заключение. «Признаете ли себя виновным?» — спрашивает судья. Сначала Петра. Он встает: «Да, признаю». «Полностью или частично?» «Полностью». Я повторяю те же ответы...

Судья и прокурор имеют четкие указания: дело не затягивать, уложиться в два-три дня, а надо еще и свидетелей допросить. Нам жестких вопросов не задавать — спускать все, так сказать, на тормозах. Они это и делают. Наш судебный допрос занял, по существу, один день. На следующий день уточнялись какие-то детали.

На третий и четвертый день допрашивали свидетелей. Вызвали немногих. Человек десять, может быть, пятнадцать. Свидетели допрошены. Объявлен перерыв. После перерыва речь прокурора, из которой мы сможем узнать, наконец, что нам «дадут».

В перерыве к нам подходит лейтенант, офицер из охраны Лефортовской тюрьмы, и спрашивает шутливым тоном, чего мы ждем от прокурора. Мы пожимаем плечами. «Ну, вот,— говорит он весело,— перед каждым из вас микрофон. Что, если на каждый микрофон дадут по три года лагерей и три года ссылки? Устроит это вас?» Мы молчим.

В перерыве нас спускают в подвал. Забыл сказать: накануне я написал судье записку с просьбой держать нас с Петром вместе в перерывах. Судья разрешил. Нас заводят в камеру, у Петра начинается истерика. Он кидается

на конвой, кричит: «Мы им дали все, сукам, а нам по шесть лет». Конвоиры (это лефортовские надзиратели) растерялись. «Успокойтесь, Петр Ионович. Все еще будет хорошо». Я утащил его внутрь камеры и, как мог, успокоил.

После перерыва прокурор, окончив обвинительную речь, просит для нас именно то, о чем говорил лейтенант: на каждый микрофон по три года лагерей и три года ссылки. Нас увозят в Лефортово. Завтра приговор.

Когда нас привезли в Лефортово, меня сразу вызвали. В кабинете полковник Володин, начальник следственной группы, ведущей наше дело; Кислых, следователь Петра Якира, и Александровский. Приводят Петра. Нас заверяют, что какой бы ни был приговор, это не должно нас смущать. По лицу Петра вижу, что он им не верит. А я верю. Я знаю, что так и будет, как они говорят.

На следующий день зачитывается приговор суда. Судья повторяет то, о чем просил прокурор: три плюс три. Нас увозят в Лефортово.

Не прошло и получаса, дверь камеры открылась, и на пороге появился тот самый лейтенант, который так точно предсказал наши сроки. «Собирайтесь, быстренько,— и уже на ходу,— вас примет председатель КГБ». По дороге меня перехватил начальник тюрьмы — полковник Петренко,— он и ввел меня в кабинет.

Из-за стола встал высокий грузный человек в очках и пошел навстречу мне. «Вы можете идти»,— сказал он Петренко. Тот вышел. Мы остались вдвоем. «Я — председатель КГБ Андропов»,— сказал он, протягивая мне руку. Я пожал его руку. «Узнаю вас по портретам»,— ответил я. Он предложил сесть. Разговор начался.

«Мне доложили, что у вас назрел кризис доверия к КГБ». «Неудивительно,— сказал я.— Мы сдержали свое слово, а нам дали по шесть лет». «Ну, на это не обращайте внимания. Подайте заявление на кассацию, вам снизят до отсиженного и пока оставят ссылку. Далеко мы вас отправлять не собираемся. Можете сами выбрать город поближе к Москве. А там пройдет месяцев восемь, подадите на помилование и вернетесь в Москву. Нельзя же было вас выпустить из зала суда. Согласитесь, вы с Якиром наломали изрядно дров. Кроме того, ваш процесс мы широко освещали в печати. А приговор по кассации публиковать не будем»...

Потом он сказал: «Вот вы пишете в своих документах, что в СССР происходит возрождение сталинизма. Вы действительно так думаете?» Я сказал, что имеется много фактов, свидетельствующих об этом. «Это чепуха,— сказал Андропов.— Возрождения сталинизма никто не допустит. Все хорошо помнят, что было при Сталине. В руководстве на этот счет имеется твердое мнение. Я знаю, что Якир и вы незаслуженно пострадали в сталинские годы. Знаю, что погибли ваши отцы. Все это не прошло бесследно для вас. Между прочим, после войны я тоже ждал ареста со дня на день. Я был тогда вторым секретарем Карело-Финской республики. Арестовали первого секретаря. Я ждал, что арестуют и меня, но пронесло».

Лирическая часть окончилась. Андропов приступил к делу. «А как вы смотрите на то, чтобы выступить на пресс-конференции перед иностранными журналистами? Они столько лжи пишут о вашем деле. Нужно прочистить им мозги. Чтобы на Западе знали, что вы говорили на суде не под давлением, а по доброй воле. Только не думайте, что я вас покупаю. Если не хотите, то не надо. Все то, о чем я говорил, будет и без этого».

Нужно было отвечать. Времени на обдумывание было несколько секунд. Я мог отказаться. Я ответил: «Я уже говорил о своей вине на суде. Могу повторить это и на пресс-конференции. Какая разница?» «Ну, вот и хорошо,— сказал Андропов.— Это правильное решение. А то подняли целую бучу вокруг вашего процесса. Кто вы по специальности?» — спросил он. «Экономист». «Когда вы освободитесь, мы возьмем вас в наш научно-исследовательский институт». Я промолчал. «Есть ли у вас какие-нибудь вопросы или просьбы ко мне?» — спросил он. «Да,— ответил я.— Я хотел бы поговорить с вами на тему, которая представляется мне очень важной...

Между органами власти, КГБ в частности, и советской интеллигенцией сложились очень напряженные отношения. В этой ситуации КГБ действует только репрессиями. Если вы заинтересованы в том, чтобы как-то умиротворить эту ситуацию, надо показать, что КГБ умеет не только карать, но и миловать. Например, освободить кого-либо из тех, кто давно сидит и к чьей судьбе особенно сильно привлечено внимание общественности».

Он слушал меня с видимым вниманием. «Кого вы имеете в виду?» — спросил он. Я назвал одну фамилию. «Но он ведь больной человек»,— возразил Андропов. «Я не врач,— сказал я,— но из общения с ним, а я близко его знал, у меня сложилось твердое убеждение, что он вполне здоровый человек. Но дело даже не в моем мнении. Я знаю, что недавно врачи рекомендовали его на выписку из психиатрической больницы, а прокуратура отменила это решение». «Я этого не знал,— сказал Андропов.— Если это так, то я посмотрю, что можно сделать. Вы напишите заявление о своих предложениях...»

Как он понял то, что я ему сказал? Конечно, как торг: я прошу дать сдачу за свое согласие участвовать в пресс-конференции. И он понял правильно. Разве меня волновала участь людей, о которых я собирался писать в заявлении? Волновала, но далеко не в первую очередь. Я заботился о другом — подготовить оправдания своему поведению в Лефортове, когда выйду на волю...

Перед тем как отпустить меня, Андропов сказал: «Если у вас будут какие-либо жалобы, предложения, в том числе и личные, не стесняйтесь, пишите. Обещаю вам, что я прочту и сделаю все, что можно». Аудиенция окончилась. Вошел Петренко и повел меня назад в камеру.

— Значит, ты мог отказаться от участия в пресс-конференции? Андропов сам сказал, что это — твое дело...

— Он меня просто прощупывал. Ему надо было, чтобы я согласился добровольно, а не под давлением. Представь себе, что на пресс-конференции произошел бы срыв, и я сделал то, что не решился сделать на суде: сказал иностранным журналистам, что все, что публиковалось в печати о нашем деле,— это ложь. Что нас заставили вести себя так под угрозой смертной казни. Скандал был бы громадный. Ему нужно было мое добровольное согласие...

— Расскажи о пресс-конференции.

— Пресс-конференции предшествовала интенсивная подготовка. Каждый день меня приводили в кабинет Александровского, и мы отрабатывали вопросы и ответы. Я категорически отказался говорить о психушках. «Ну, тогда эту тему придется отдать Петру Ионовичу»,— сказал Александровский. Так я свалил самую подлую часть предстоящего позорища на Петра. «Главное — не волнуйтесь. Чувствуйте себя уверенно. Вы ведь будете говорить то, что думаете,— говорил Александровский, глядя на меня с издевательской улыбкой...»

На пресс-конференцию нас везли не в «воронке», а на «Волгах»...

Мы вошли в зал. Сели каждый за свой стол. Зал был уже набит до отказа. Прожектора, звукозаписывающие установки. Появился прокурор Маляров, заместитель Руденко. Он произнес вступительное слово.

Затем выступил представитель МИДа. Он сказал корреспондентам, что они могут задавать любые вопросы, но только в письменном виде...

Корреспонденты начали подавать записки с вопросами. Представитель МИДа проглядывал их, часть откладывал в сторону, а те, на которые мы должны были отвечать, он оглашал вслух... Вопросы были нам хорошо знакомы: все они были уже проработаны в лефортовских кабинетах... Пресс-конференция продолжалась с час. Потом представитель МИДа заявил, что мы устали, что вопросы можно задавать до бесконечности и что пресс-конференция окончена...

Я был уверен, что разговор с Андроповым о «милосердии» никаких последствий иметь не будет. Они получили то, что им надо, можно и не давать сдачи. Но я ошибся.

Как-то вечером меня привели в следственный кабинет. Там был Кислых. Александровский уехал отдыхать. Заслуженный отдых после года напряженной работы, окончившейся таким успехом. «У вас готово письмо, которое вы обещали председателю?» «Нет,— растерянно сказал я.— Набросаны вчерне кое-какие мысли, но готового текста нет». «Надо его сделать сегодня. Я сейчас приглашу машинистку, а вас тем временем отведут в камеру, возьмите свои черновики и будете прямо с них диктовать». «Что за спешка?» — спросил я. Он улыбнулся своей чекистской, ничего не говорящей улыбкой и сказал: «Начальство требует».

Через полчаса, приведя в порядок свои наброски, я уже диктовал текст этого документа. Сначала шла демагогия, уже изложенная в разговоре с Андроповым,— о «конфликтных отношениях» между интеллигенцией и КГБ, о необходимости умиротворения, чтобы КГБ проявил терпимость и милосердие, и в конце список тех, кого я рекомендовал представить к «милосердию».

Прошло еще несколько дней. Я опять стал думать, что продолжения не будет. Чистая формальность: я обещал письмо, Андропов это запомнил и спросил. Теперь его положат в папку — и навсегда. Я опять ошибся.

— Ты думаешь, что КГБ действительно освободил кого-то в ответ на твое письмо?

— Они сделали это, конечно, по своим собственным соображениям, но представили дело так, чтобы я думал, что это в ответ на мою просьбу. Кроме того, они легко разгадали мой замысел: подготовить для себя оправдание в случае освобождения. Но они поняли еще и то, чего не понимал я: что это вызовет не оправдание, а, наоборот, дополнительное возмущение.

Андропов сдержал обещание: я получил свободу в обмен на предательство. По кассации нам снизили пребывание в заключении с трех лет до отсиженного — мне до 13 месяцев, Якиру — до 16. Ссылку оставили в силе на три года...

* * *

Эта книга не воспоминания. Это исповедь человека, которого гордыня, тщеславие и высокомерное отношение к людям привели к катастрофе, едва не погубившей душу. Оканчивая эту книгу, я еще раз прошу прощения у всех, перед кем я так тяжко виноват, и да поверят они, что в рассказе своем я стремился к правде.

Краткие биографические сведения

Петр Ионович Якир родился в Киеве в январе 1923 года.

Его отец, Иона Якир, был командармом Красной Армии, одним из тех, кому Советская власть обязана победой в гражданской войне. Он был расстрелян по процессу военных в 1937 году.

Мать Петра, Сара Лазаревна, была арестована как жена «врага народа». Она отбыла в лагерях 18 лет. Вслед за матерью был арестован и Петр. Ему было тогда 14 лет. Он отбыл в неволе 17 лет. Его жена, Валентина Савенкова, с которой он познакомился в лагере, отбыла в заключении и ссылке около 10 лет.

В 1956 году Петр с матерью, женой и дочерью Ириной, родившейся в лагере, вернулся в Москву. Петр поступил в историко-архивный институт, по окончании которого работал научным сотрудником в институте истории Академии наук.

С появлением правозащитного движения Петр принял в нем самое активное участие. Он был одним из первых, кто начал кампанию коллективных писем-протестов против нарушений законности и гласности. Его дом стал одним из главных мест, где собирались диссиденты.

Как личность, Петр обладал удивительным обаянием и притягательностью. Он был прост, доступен и отзывчив. Его любили все, кто его знал.

Все годы до ареста в 1972 году он все свое свободное время посвящал правозащитной деятельности. Написание писем-протестов, сбор подписей под ними, собирание информации об арестах, судах, положении в лагерях; перепечатка и распространение этих материалов в Москве и других городах, передача их западным корреспондентам; распространение неподцензурной литературы — не было такой формы диссидентской деятельности, в которой Петр не принимал бы самого деятельного участия.

В июне 1972 года его арестовали.

После освобождения Петр жил в Москве. Он умер в ноябре 1982 года.

* * *

Моя жена, Надежда Емелькина, родилась в Москве в 1946 году. В 1964 году поступила в Московский геологоразведочный институт. В 1967 году начала размножать и распространять самиздатскую литературу, а в дальнейшем приняла активное участие в правозащитном движении. В 1968 году была отчислена из института.

В июне 1971 года вышла на демонстрацию на Пушкинскую площадь в Москве, развернув транспарант с требованием свободы политзаключенным в СССР. Бросила в толпу пачку сделанных ею листовок, в которых говорилось, что помещение здоровых людей за их убеждения в психиатрические больницы — это нацистские методы. Была арестована и приговорена к 5 годам ссылки. Ссылку отбывала в Красноярском крае. В 1973 году, после нашего суда, была помилована.

В 1975 году мы вместе выехали в США.

* * *

Я родился в Киеве в 1929 году. В 1937 году был арестован мой отец. Он погиб в лагерях на Колыме... В 1944 году мы вернулись и поселились в Москве. В 1947 году я окончил среднюю школу и поступил в Московский университет на психологическое отделение философского факультета.

В январе 1949 года я и шесть моих друзей были арестованы МГБ по ст. 58—10—11. После семи месяцев следствия на Лубянке нас решением ОСО приговорили к восьми годам лагерей за критику марксизма-ленинизма с идеалистических позиций.

В сентябре 1949 года я и четыре моих лагерных товарища совершили побег с Тайшетской пересылки, разоружив конвой. Нас задержали на третьи сутки. Лагерный суд приговорил нас к 10 годам по ст. 58—14 за контрреволюционный саботаж...

После смерти Сталина наше дело было пересмотрено. Нас привезли на Лубянку и в октябре 1954 года освободили и реабилитировали.

Я восстановился в Московском университете на экономическом факультете и окончил его в 1963 году. Учился я заочно, работая шофером на грузовиках и в московском такси. В 1966 году окончил аспирантуру по кафедре статистики. Я написал диссертацию, посвященную сравнительному анализу темпов экономического роста передовых западных стран в XX веке. Диссертация не была допущена к защите, поскольку не соответствовала марксистским стандартам.

С 1966 по 1968 год я работал научным сотрудником в Центральном экономико-математическом институте Академии наук (ЦЭМИ). В это время я начал заниматься самиздатом: фотографировал и давал читать друзьям неподцензурную литературу.

Осенью 1968 года был уволен из ЦЭМИ, отказавшись прекратить правозащитную деятельность. Я не работал год, и в конце 1969 года меня арестовали и приговорили к пяти годам ссылки по обвинению в тунеядстве. Ссылку я отбывал в Красноярском крае.

Осенью 1971 года Верховный суд РСФСР отменил приговор, и я вернулся в Москву.

В сентябре 1972 года я был арестован КГБ по 70-й статье.

С октября 1973-го я отбывал ссылку в г. Калинине.

В феврале 1975 года эмигрировал в США.



ПИСЬМА ИЗ АРМИИ

■

Обращаюсь к Н. Андрееву, автору статьи «Обыкновенный рашизм» («Огонек» № 8). Я офицер Военно-Морского Флота СССР. Не кичусь этим, но и не без гордости отношусь к своему званию. На подводных лодках прослужил без малого 9 лет, тонул, горел, нас таких много. Большинство моих сослуживцев никак не подходят под вашу схему: среди них грамотные специалисты по вычислительной технике, радиосвязи, способные математики. Зачем же вы нас всех так? Клеймите Раша, но при чем тут офицеры? Нам и так достается на орехи и от народа, и от правительства, и от своих генералов. А тут еще вы...

Конечно, не о дискредитации армии вы ведете речь. Но, критикуя Раша, вы подводите к мысли о том, что сто журналистов, сто инженеров, сто шоферов, сто... кого угодно лучше ста офицеров. Я-то, грешным делом, считал, что профессионализм ценен в любом деле, но, видимо, ошибался. У вас есть все основания сомневаться в высоком уровне профессионализма наших военных, тонувших на кораблях, разбивавшихся в самолетах, созданных гражданскими профессионалами, умиравших в Афганистане за строчки других профессионалов о священном интернациональном долге. Разрешите и мне выразить сомнение в профессионализме тех людей, из-за которых я тонул и горел, и сказать спасибо тем, благодаря кому мои дети играют с родным отцом.

И последнее. Позвольте спросить: где были вы, журналисты, с вашей принципиальностью и честностью, когда мы, офицеры и мичманы, в 1982—1985 годах писали вам о ситуации в армии, о злоупотреблениях, самодурстве, воровстве некоторых офицеров, наделенных значительной властью? Не вы ли возвращали наши письма в политотделы с просьбами разобраться на месте? Не вы ли писали статьи, что «все спокойно»? Не вы ли восхищались мощью армии, единой с народом, когда она маршировала не только по Красной площади? А теперь? Лежачего бьете?

Какую бурю возмущения вызвало бы у вас, тов. Андреев, мое заявление типа: все журналисты — жалкие дилетанты и конъюнктурщики с наклонностями фашиствующих антисемитов и прочих «анти», трусливо молчавшие до 1985 года, а теперь рвущие на части ослабевшего, как шакалы. Но я не напишу такого, так как надеюсь, что ваша статья не является определяющей взгляды редакции на офицеров. Критикуйте, но не оскорбляйте... Вам, Н. Андреев, я не подам руки.

Я, Белов Андрей Евгеньевич, бывший нахимовец, специалист по радиоэлектронике, смею вас заверить, что со знанием вычислительной техники у меня все в порядке и за 17 лет военной службы я ни разу не поступился своей честью. А взглядов К. Раша я не разделяю.

А. БЕЛОВ
Ленинградская область

■

Пишу вам, прочитав статью «Какая армия нам нужна» («Огонек» № 9). Я заведую библиотекой в воинской части, вольнонаемная, в армии работаю с ноября 1977 года. Так что жизнь военная мне известна. И я скажу так: каждый честный человек, так или иначе связанный с армией, не может не видеть, что военная реформа назрела, медлить, растягивать ее на годы нельзя.

Вот только некоторые наблюдения. Раньше я думала, что наша часть исключение: на военной форме эмблема связистов, а на самом деле строят дома, работают на заводе и т. д. Даже два праздника отмечают — День связиста и День строителя. Но, читая прессу, я сделала вывод, что половина, а быть может, две трети личного состава строят, ломают, копают... При этом солдатам вбивают в голову, что именно такая армия выгодна для народа. Замечу, что труд солдат бесплатный, всего семь рублей в месяц. Я говорю, что если будет реформа в армии, то части, подобные нашей, обязательно расформируют. Офицеры и прапорщики мне возражают: «Нет, не распустят, не расформируют. Кто же будет строить дома? Из Чехословакии наши войска выходят, квартир много нужно». И невдомек моим собеседникам, что строить должны гражданские люди, инженеры и рабочие, которые, если не погибнет перестройка, за свой тяжелый труд будут получать настоящую зарплату, а не жалкое пособие.

И еще. В части полным-полно политработников: замполит, пропагандист, секретарь комсомола, я уж не говорю о целых политотделах... А поговоришь иной раз с солдатами о политической ситуации в стране, каждый разговор — эпизод для передачи «Вокруг смеха». Как ты относишься к Ельцину, спрашиваю. Ответ: он не служит в нашей роте. «Архипелаг ГУЛАГ» — это фамилия писателя, культ личности Сталина развенчал маршал Жуков, Фергана в Армении, и там армяне били узбеков... Печальный юмор. Когда провожу мероприятия, каждый раз убеждаюсь, что многие не слышали ни о Съезде народных депутатов, ни о Президенте, ни об изменениях Конституции. Чем же на политзанятиях вы занимаетесь? (Политзанятия, считай, каждый день.) Политикой, отвечают.

Хочешь не хочешь, а задумаешься: нужна ли нам такая армия?

И. ГРИБАНОВА
Орел

■

Странно, что маршал Ахромеев и другие высокопоставленные лица МО СССР, выступая против профессиональной армии, в качестве довода приводят то, что нужны огромные средства на создание социально-бытовой структуры, выплату жалованья и т. д. Но кто подсчитывал материальные затраты на ремонт и восстановление техники и вооружения, вышедшего из строя исключительно по вине личного состава, вследствие безграмотнейшего обслуживания и эксплуатации? Кто подсчитывал затраты на замену и ремонт технических средств, не выработавших свой ресурс по той же самой причине? Кто считает затраты на обучение личного состава срочной службы, когда контингент учебных отрядов меняется каждые полгода и масса молодых людей в военной форме, обученных лишь строевому шагу, приходит в воинские части и подразделения? А эти «специалисты» должны самостоятельно обслуживать вверенную им технику. И неудивительно, что специалистом военнослужащий срочной службы становится к концу своего срока службы, а иногда и этого не происходит.

К сожалению, все больше и больше молодых людей смотрят на воинскую обязанность как на неприятную необходимость, от которой никуда не деться, и приходится перетерпеть, перемогнуть эти два или три года. Отсюда и безразличие, незаинтересованность и даже полное отвращение к службе у определенной части личного состава со всеми вытекающими отсюда последствиями: низкое состояние воинской дисциплины, преступность, низкая боеготовность, поломки и аварии материальной части, а порой и сознательный вывод ее из строя.

К сожалению, явления эти прогрессируют и устранить их может только перевод армии на профессиональную основу.

Никто не призывает немедленно, с ближайшего понедельника перейти к профессиональной армии. Переход должен быть постепенный, с созданием социально-бытовой структуры, с переводом на профессиональный статус тех частей, где используется сложная техника, требующая знаний и опыта. Прежде всего профессиональным должен стать плавсостав ВМФ, летный состав и обслуживающий персонал ВВС, ВДВ, войска ПВО и ракетные войска стратегического назначения. Перевод их на профессиональную основу менее сложен и болезнен.

Профессиональный статус стал необходимостью, которую маршал Ахромеев отвергает. Да, это огромная работа. Переход к армии этого типа не только создание института профессиональных военных, это и кардинальное изменение функций строительства, снабжения, финансирования Вооруженных Сил. Это и правовые проблемы, и изменения психологии военнослужащих, взаимоотношений между ними.

Моя убежденность в необходимости профессиональной армии вызвана не последними публикациями в прессе, а гораздо ранее, в 1985 году, когда я был на 2,5 месяца прикомандирован к экипажу подводной лодки ВМС Индии для обеспечения ходовых испытаний и воочию убедился в достоинствах профессиональной армии и флота.

Мичман А. ТУРЬЕВ,
командир катера, в ВМФ 11 лет
Владивосток

■

По семейной традиции готовил своего сына стать профессиональным военным — защитником Отечества, быть в жизни честным, порядочным и принципиальным.

После окончания высшего общевойскового командного училища (1981 г.) он служил в Новосибирске, с 1983 по 1985 год — в Афганистане, откуда вернулся ст. лейтенантом в Закарпатский военный округ, в гор. Мукачево, где по сей день продолжает служить в том же звании. В этом году ему исполнилось 30 лет, из которых 13 календарных в армии плюс 4 зачетных.

Беседуя с сыном, узнал, что дальнейшему росту препятствует его беспартийность, о чем ему неоднократно заявляли. Вот так! Стало быть, воевать за рубежом, по мнению начальства, можно беспартийному? Кстати, большинство его сокурсников, вступив в члены КПСС, не побывав в Афганистане, повышаются в званиях.

С первого дня службы в армии сын категорически заявил, чтобы в его судьбу не вмешивался: «Мне не нужна никакая помощь — обойдусь без тебя. Не хочу прослыть «позвоночником». Рад за него, что не поступился принципами и не стал карьеристом. Что представляли собой отдельные члены КПСС, небезызвестно, и с какой целью вступали в партию — понятно. Только за два года (1988—1989) сдали свои кандидатские карточки и партбилеты 154,6 тыс. коммунистов («Известия ЦК КПСС» № 3, 1990 г.).

Думают ли те, кто решает судьбу беспартийных офицеров, к каким последствиям это приведет?

Я член КПСС по убеждению и утверждаю, что препятствование профессиональному росту и искусственное торможение проявлению интеллектуальных способностей лишь по признаку нечленства в партии пагубно для страны! Президент страны М. С. Горбачев, оценивая сложившуюся ситуацию, даже ввел в Президентский совет беспартийного писателя В. Распутина.

Что ожидает армию и ее партократию, если возникнут параллельно другие политические образования? Ведь это уже явь! В результате авторитарности, некомпетентности, невежества и бескультурья страна переживает небывалые потрясения: политические, социальные, экономические и нравственные. Если так будет продолжаться и дальше с конформизмом, с протекционизмом и с партпредпочтительностью, Советская Армия не станет патриотичней и боеспособней.

Быть или не быть в армии политорганам — время покажет. Считаю, что офицерский корпус и его дух должны формироваться из советских граждан любой национальности, добровольно посвятивших себя этой профессии, честно исполняющих свой долг перед Родиной, всемерно поощряемый в независимости от наличия в кармане членского билета принадлежности к КПСС, а тем более от чьей-либо прихоти.

Призадумайтесь над моим письмом, о котором мой сын не знает.

В. ПЛАХОВ,
руководитель группы консультантов Казахского республиканского совета ветеранов войны и труда, инвалид 2-й группы, персональный пенсионер
Алма-Ата

■

Десять лет, как я в должности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения части. Службу проходил в нескольких воинских частях. Исходя из стажа в должности имею право на определенные обобщения.

Например, немногие знают, что от МОЕЙ категории офицеров (офицеры службы вооружения) зависит, на-

сколько надежно перекрыты каналы хищения оружия и боеприпасов. Немногие также знают, что недостачу боеприпасов легко скрыть, списав ее на расход на практические стрельбы. И будьте уверены, это широко практикуется. За примером далеко ходить не надо. У автора этого письма недостача боеприпасов имеет место. Это зафиксировано на бумаге, но... все тихо. Никто не хочет получать взыскания.

Я прекрасно знаю, каким образом «погашают» недостачи военного имущества, в том числе и образцы техники. Просто-напросто похищенное имущество списывается по актам. И списывается на многие сотни тысяч рублей. Фактически летят в трубу народные деньги. В одной из военных частей я выявил недостачу во многие тысячи рублей. А эта часть не исключение из правил. Встречаясь с подобными фактами, я стал сомневаться в цифре в 70 «с копейками» миллиардов рублей, выделяемых для МО СССР.

Но всё же главная беда армии в систематическом снижении интеллектуального уровня офицерского состава — костяка, основы армии. Особенно младшего состава, на долю которого падает основная тяжесть всех армейский дел,— ротные, взводные, младший технический состав. Очень тревожно, что этого «негатива» не видят наши высшие военные чины, а стало быть, никто не думает о дне завтрашнем.

Не секрет, что из армии по сокращению в большинстве уходят толковые люди, у которых нет высокопоставленных родственников, их некому поддержать. Пожалуй, все наше общество знает, каков порядок продвижения по службе в армии: или протекция, или сделка с совестью. Приток же в армию толковых людей невелик (я имею в виду офицерский состав).

Не скрою: всю службу в офицерском звании числился в числе «худших», т. к. всегда имел собственное мнение. Принципиальность в решении служебных вопросов привела к тому, что мне так и не дали возможности получить академическое образование. К тому же прибавились опасения о здоровье: в 1986 г. участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

О том, что я не безграмотный офицер, наверное, может свидетельствовать факт, что в свое время руководящий состав военной академии предлагал мне туда поступать. Некоторые мои предложения были использованы в войсках. Несколько добрых строк (извините за нескромность) обо мне поместил военный журнал.

А сейчас у меня другие цели, направленные на «гражданку». Хотя и понимаю, что уходить с тонущего корабля, каким мне представляется армия, с точки зрения высокой морали несколько безнравственно, но ... При существующей системе изменить ничего не могу. Неизвестно, во что может армия превратиться, если она с такой скоростью теряет профессиональный и интеллектуальный уровень.

Майор В. ИЛЬЯШЕНКО,
начальник службы
ракетно-артиллерийского
вооружения части
Душанбе

■

Страшно от мысли, что нет в живых многих моих однополчан, что еще недавно мы служили вместе, жили в одном гарнизоне, входящем в соединение ракетных войск. Через год после ухода в запас, не дотянув до 50-ти, скончался майор Ковшуля, за время службы он так и не смог вылечить язву желудка. Из-за скрытых и нескрытых болезней после ухода на «гражданку» (с 45 лет) в течение пяти лет скончались майоры Фирсов, Ильясов, подполковник Прийдак, капитан Фисенко. Отчего они умерли, не дожив до 50 лет?

Почему умирают 40—50-летние офицеры, еще недавно бывшие кадровыми военными, только что ушедшие в запас или принявшие решение уволиться? Не могу дать полного ответа на свой же вопрос. Сказать, что они не сумели реализовать свои возможности, что все они невезучие, значит, ничего не сказать. Ведь абсолютное большинство из них посвятило себя армейской службе добровольно, поставив перед собой святую цель — защиту Отечества.

Может быть, оттого, что росли в голодное послевоенное время, а начинали службу в середине и конце 50-х, когда Хрущев сделал офицеров запаса свинарями, а генералов — председателями колхозов? А может, оттого, что во времена Брежнева они попали в бесправное положение, ибо их талант и профессиональные военные качества уже ничего не стоили: был взят курс на омоложение армии, и сотни тысяч грамотных офицеров, объявленных «бесперспективными», стали исполнителями воли 40-летних генералов, не умевших пользоваться оружием. Эта политика Министерства обороны и правительства привела к тому, что тысячи способных офицеров оказались обреченными на моральную смерть, которая тем самым приближала смерть физическую в сегодняшних, 80-е годы.

Старший лейтенант Амелин прослужил в этом звании 20 лет, получил капитана в 45, через год уволился и вскоре умер. Такая же участь постигла ст. лейтенанта Власюка, капитана Бодрова. Без связей у них не было роста, и это одна из причин, из-за которой многие офицеры в то время становились алкоголиками.

Майор Юхт умер летом 1988 года на 53-м году жизни. Во время службы перенес никем не замеченный инфаркт не оттого ли, что им начал командовать его бывший подчиненный, 24-летний ст. лейтенант, возраст которого был меньше стажа службы Игоря Борисовича. Увы, боевая готовность поддерживалась такими, как способный майор Юхт, а получали звания другие. У меня в подчинении служил 18 лет в капитанском звании А. М. Мешков, талантливый человек, имеющий высшее образование и отличный послужной список. Майора ему присвоили при увольнении. К слову, и автор этих строк прослужил в майорах 10 лет, вплоть до увольнения.

Не дождавшись пенсии, в возрасте 43—45 лет умерли капитан Колбасин и ст. лейтенант Конышев. Перечислю еще фамилии: капитан Ананьев, майоры Бухарев, Макаров, Новиков Данила Григорьевич, прекрасный специалист, окончивший академию в 1966 году, имел строптивый характер и 13 лет ходил в капитанах. Скончались капитан Чалов, прапорщик Манчуковский. Список могу продолжить. Все это за последние 5—10 лет.

Отчего умерло столько офицеров запаса, можно сказать, одного полка? Может быть, потому, что на «гражданке» их тоже ждала собачья жизнь. Никому не нужны, нет работы, нет жилья. Когда в 45—50 лет тебя вышвырнули и ты никому не нужен — это трагедия.

Прошу считать мое письмо ответом маршалу Ахромееву на его рассуждение о профессиональной армии.

Инженер-майор запаса
С. БЕЛЫШЕВ
Орджоникидзе

■

Прочитал письмо маршала Ахромеева и других депутатов, направленное на имя А. И. Лукьянова, с жалобой на «Огонек» и с просьбой поставить вопрос на заседании Верховного Совета СССР о деятельности журнала.

Я не буду останавливаться на уровне политической подготовки нашего генералитета. Но маршал, вчерашний начальник Генерального штаба, должен знать, что ни один парламент мира не обсуждает деятельность редактора свободной прессы в демократическом государстве! Для этого есть другие органы, куда можно жаловаться на клевету.

Теперь по существу. Как можно предполагать, инициатором этого заявления был маршал Ахромеев. Разве не в бытность маршала начальником Генерального штаба в армии зародилась и процветала «дедовщина»? Разве не при нем на Красную площадь садились самолеты, после чего министр обороны был снят с работы?

Цитирую несколько фраз из депутатского заявления: «Журнал в искаженном виде представляет жизнь и деятельность армии и флота, пытается расколоть офицерский состав, противопоставляя высший командный состав армии и флота основной массе офицерского состава».

Я хочу сказать депутатам-генералам, а они, уверен, все коммунисты: разве в нашей партии справедливая критика негативных явлений и действий отдельных коммунистов преследуется? Вы, уважаемые, не привели ни единого факта, когда журнал искажал действительность или необъективно критиковал армию и флот. Ну уж, а за гласность, товарищи генералы, простите, нынче такие времена. Отстаете вы от жизни. Даже посмею вас упрекнуть, что вы не поняли сегодняшней политики партии.

А пустословить в своих заявлениях — ЭТО УЖЕ БЫЛО, и мы знаем, к чему привело.

Н. АНТОНОВ,
член КПСС с 1944 года
Москва

■

Начну издалека. Отец мой был военный, жили в тайге, в глуши. Детей четверо, школы нет, учились в интернате. Держали козу, сколько посадим картошки, столько и съедим. Да еще постоянные переезды. Только когда стала работать медсестрой, узнала, что мои ровесники — дети военного начальства отдыхали в пионерлагерях в Анапе, на дачах, ели вкусно и сытно.

Пришла пора моим сыновьям служить в армии. Старший должен был уйти в 1986 году, со второго курса института. Тогда был еще Афганистан. Тайком от мужа и сына я стала искать знакомства и связи. Не судите меня строго, к тому времени мы уже схоронили многих, кто погиб в этой войне. Преодолевая самого себя (все-таки слово «Афган» помогло), муж встретился с одним высокопоставленным работником. По наивности он думал, что все обойдется унижением его личного достоинства, дружеским разговором, извините, за бутылкой. Вернулся домой с круглыми глазами, т. к. большой военный чин назвал ему огромную сумму, объяснив, что он должен поделиться с еще большим начальством.

Мы были уверены, что сын будет служить в «хороших» войсках, десант и морская пехота ему были противопоказаны по здоровью. И вот, на наше несчастье, сын узнал об этом. Чтобы вернуть деньги и не служить, как мы хотим, он сбежал с весеннего призыва, уехал со стройотрядом института на БАМ. Осенью его отправили в стройбат. Способный математик и физик два года работал кочегаром в котельной, оружия в руках не держал, вернулся с гипертонией и сломанным носом. Сын, который никогда не пил, не курил, пальцем никого не тронул, вот уже год как не может забыть унижения, которые испытывает солдат, когда офицер бьет его по щекам.

Пока первый был в армии, ушел служить второй. За второго я была спокойна, он окончил авиационный техникум, год в военкомате его готовили к службе в ВВС, т. к. он успел уже несколько месяцев проработать в «фирме Микояна» и проходил по здоровью. Но отправили его во внутренние войска. Зам. комиссара Московского сборного областного пункта мне ответил, что сыну в ВВС не хватило места.

Пусть военные депутаты, подписавшие письмо тов. Лукьянову, ответят на мои вопросы. Разве они не имеют отношения к войне в Афганистане, которая забирала наших сыновей и заставляла матерей и отцов идти на сделку с совестью? Почему народ должен содержать армию, где еще и взяточничество? В военкомате год учили моего сына, это что, для видимости, чтобы деньги получать? Кому выгодно, чтобы авиамеханик охранял заключенных?

Пока прадедушки руководят нашей армией, никаких изменений не будет. Свои привилегии без боя они не отдадут и никогда не согласятся на профессиональную армию, ибо останутся безработными и без власти.

Адрес мой только для редакции, так как младший сын пока еще служит и я не верю, что армейское начальство не навредит ему.

И. КР-ВА
Московская область

■

Почему в армиях развитых стран (в последнее время даже в некоторых странах Варшавского Договора) отсутствуют политические органы? Да потому, что там уважается право человека иметь собственные убеждения. Какими вопросами порадует политработника призывник из Прибалтики? Что дают политзанятия, если солдаты на практике видят, как действует руководящая и направляющая сила нашего общества? В армии служат вполне взрослые люди, а мы их заставляем на политзанятиях либо повторять без конца о дружбе и войсковом товариществе, либо говорить штампованные фразы о руководящей роли КПСС, дружной семье советских народов, укрепляющейся обороноспособности страны, ее экономическом могуществе. И заметим, что политическая подготовка является одной из важнейших дисциплин в армии. Ну не нонсенс ли это? Не чрезмерно ли мы политизируем наши Вооруженные Силы?

На мой взгляд, в настоящее время армии нужен не политработник, а психолог, который на основании научно обоснованных методик мог бы тестировать личный состав, выявлять неформальных лидеров, комплектовать совместимые экипажи, расчеты, предупреждать возникающие в любом коллективе напряжения, проводить работу с представителями различных национальных и социальных групп.

О. СОПОВ,
зам. командира подразделения
по политической части
Ленинградская область

Подборку подготовила
З. ЗОЛОТОВА

ШПИОН, КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ С ХОЛОДА

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

РОМАН

ПРИЗНАНИЕ



Правильно, Карден.

Белое, окаменевшее лицо, голова откинута назад и немного набок, как у человека, прислушивающегося к отдаленному звуку. Он весь застыл, даже смотреть страшно. Нет, это больше чем сдержанность, это особое самообладание, когда все естество зажато в железные тиски воли.

— Правильно, Карден, отпустите ее.

Лиза не отрывала от него глаз. Лицо ее исказилось и подурнело, темные глаза наполнились слезами.

— Нет, Алек... не нужно,— сказала она,— не вздумай им что-нибудь рассказывать из-за меня.— Она повысила голос, остальные люди в этой комнате для нее не существовали, только он, подтянутый, собранный, как солдат.— Ничего им не говори. Мне уже все равно, Алек, клянусь тебе, мне уже все равно...

— Замолчи, Лиза,— прервал ее Лимас сдавленным голосом,— теперь слишком поздно.— Он посмотрел на председательницу.— Она ничего не знает. Решительно ничего. Отправьте ее домой. Я вам все расскажу до конца.

Председательница бросила взгляд на мужчин, сидевших справа и слева от нее, подумала и сказала:

— Покинуть здание суда она может, но уехать домой до окончания слушания дела — нет. А потом посмотрим.

— Говорю вам, она ничего не знает! — выкрикнул Лимас.— Разве вы не понимаете, что Карден прав? Это была разработанная операция. Откуда ей что-нибудь знать, этой простой девушке, этой неудачнице из захудалой библиотеки? Не нужна она вам!

— Она свидетельница. Фидлер, возможно, захочет задать ей вопросы,— сказала председательница.

Уже не «товарищ Фидлер», а просто «Фидлер».

А он, услышав свое имя, словно очнулся от сна. Впервые Лиза осознала его присутствие, когда взгляд его глубоких карих глаз задержался на ней и он чуть-чуть улыбнулся, как бы распознав в ней представителя своей расы. «У него вид растерянного человека, который уже на все махнул рукой»,— подумала Лиза.

— Она ничего не знает,— сказал устало Фидлер.— Лимас прав, отпустите ее домой.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — спросила председательница.— Вы понимаете значение ваших слов? Вам, стало быть, нечего у нее спросить?

— Все, что она могла сказать, она уже сказала.— Фидлер опустил руки на колени и, казалось, перестал интересоваться тем, что происходит вокруг.— Это была хорошо продуманная операция. Отпустите девушку — не может она сказать о том, чего сама не знает.— И, перейдя на официальный тон, он добавил:— У меня нет вопросов к свидетелю.

Охранник открыл дверь и позвал кого-то из коридора. В ответ послышались женский голос и тяжелые шаги, которые медленно приближались. Фидлер резко поднялся и, взяв Лизу за руку, проводил ее до дверей. Там она остановилась и посмотрела на Лимаса, но он отвернулся, как человек, который не переносит вида крови.

— Возвращайтесь в Англию,— сказал Фидлер Лизе.— Поезжайте домой.

Лиза начала вдруг безудержно рыдать. Охранница обняла ее за плечи, не столько из жалости, сколько из опасения, что она вот-вот упадет, и вывела из комнаты. Охранник закрыл за ними дверь. Звуки рыданий, постепенно удаляясь, затихали, пока не замерли совсем.

— Собственно, добавить больше нечего,— начал Лимас.— Карден прав. Это была обстоятельно продуманная операция. Потеряв Карла Римека, мы фактически остались без единого агента в зоне. Остальных мы потеряли еще раньше. Мы ничего не могли понять: Мундт, казалось, убирает их раньше, чем мы успеваем их завербовать. Я вернулся в Лондон и встретился с Контроллом. Присутствовали также Питер Гийом и Смили. Джордж действительно был в отставке и занимался какими-то научными изысканиями. Филология или что-то в таком роде.

Как бы то ни было, мысль об этом плане уже созрела. Человек должен сам войти в западню в качестве приманки, как выразился Контролл, и посмотреть, клюнут ли они на него. А тогда, мол, мы разработаем план — так сказать, задним числом. По методу индукции, сказал Смили. Допустим, Мундт — наш агент. Как бы мы его в таком случае оплачивали, как добирались бы до папок и так далее. Питер вспомнил, что года два назад какой-то араб пытался продать нам сведения о немецкой разведке, а мы отказались и только потом поняли, что допустили ошибку. Питеру пришло в голову использовать этот факт как доказательство того, что у нас эти сведения уже имелись. Неплохая, кстати, мысль. Об остальном вам нетрудно догадаться. Я прикинулся опустившимся пьяницей без гроша за душой, поползли слухи о том, что я запустил руку в государственную казну. Элси из расчетного отдела и кое-кто еще помогали нам их распускать, и, надо заметить, помогали блестяще,— добавил он даже с некоторой гордостью.— Выбрав одно субботнее утро, когда в лавке народу побольше, я учинил скандал, о нем написали в местной газете и даже в «Daily Worker». Полагаю, эта история тогда же и дошла до ваших людей. С того момента,— добавил он презрительно,— вы начали рыть яму сами себе.

— Не себе, а вам,— спокойно заметил Мундт, задумчиво глядя на Лимаса своими прозрачно-бесцветными глазами,— а, возможно, еще и товарищу Фидлеру.

— Фидлера винить, собственно, не в чем,— равнодушно сказал Лимас.— Он честно выполнял свою работу. А что он вас ненавидит, так в вашей разведке многие с удовольствием отправили бы вас на виселицу, Мундт.

— Вас-то мы, во всяком случае, на нее отправим,— возразил Мундт уверенно,— вы убили охранника, пытались убить и меня.

Лимас сухо улыбнулся.

— Ночью все кошки серы, Мундт. Смили всегда говорил, что эта затея плохо кончится. Что она повлечет за собой такие события, которыми мы не сможем управлять. Его нервы не выдержали, вам это известно. После дела Феннана или, что то же самое, после дела Мундта в Лондоне он так и не пришел в себя. Говорят, с ним тогда произошло что-то такое, из-за чего он покинул Кембриджскую площадь. Не могу только понять, почему мои счета оказались оплаченными, почему девушка получила помощь и всякое такое. Наверно, в Смили заговорила совесть, он решил, что нехорошо убивать людей или что-нибудь еще. Безумие, конечно. После всех приготовлений, после стольких усилий сорвать операцию таким способом! Но вас, Мундт, Смили ненавидит. Впрочем, как и все мы, хоть мы этого и не говорим. Операция готовилась в каком-то смысле как азартная игра... Теперь это трудно объяснить. Мы знали, что приперты к стенке, что Мундт победил, и старались убрать его. Но, помимо всего, был еще и элемент азартной игры. А относительно Фидлера вы не правы,— обратился он к членам Трибунала.— Он не наш агент. Зачем Лондону идти на риск, связываясь с человеком, занимающим такой пост, как Фидлер? Я допускаю, что они рассчитывали на него, зная, как он ненавидит Мундта. Кстати, у Фидлера есть все основания его ненавидеть. Фидлер — еврей. Верно? А вы все не можете не знать, как Мундт относится к евреям. Я вам сейчас кое-что расскажу, потому что, кроме меня, вам никто этого не расскажет. Мундт колотил Фидлера и приговаривал: «Еврей, еврей». Для вас не секрет, что за человек Мундт. Но вы его терпите за то, что он свое дело знает. Но...— он помолчал, прежде чем продолжать дальше,— черт возьми, в эту историю замешано достаточно людей и без того, чтобы Фидлер свернул себе на ней шею. Фидлер в полном порядке, уверяю вас... Идеологически подкован — так, кажется, у вас принято говорить.

Он посмотрел на членов Трибунала. Холодные взгляды ничего не выражают, кроме равнодушного любопытства. И Фидлер слушал Лимаса с беспристрастием опытного исследователя-натуралиста.

— Значит, операция была блестяще разработана, и только Лимас все дело испортил, так, что ли? — наконец спросил он.— Такой старой лисе, как Лимас, предлагают провести блестяще разработанную операцию, венчающую его карьеру, а он, видите ли, проваливает весь план из-за... Как вы ее назвали? Из-за неудачницы из захудалой библиотеки! Нет, не мог Лондон не быть в курсе дела. Не мог Смили действовать по своему собственному усмотрению. Странная штука,— он обернулся к Мундту,— зная, что вы следите за каждым шагом Лимаса — иначе ему не предложили бы разыгрывать опустившегося пьяницу,— они посылают деньги лавочнику, оплачивают счета за квартиру, покупают контракт для девушки... Я бы сказал, чересчур странно для людей с их опытом. Подарить девушке тысячу фунтов, зная, что она член партии, и хотеть после этого, чтобы она верила в крайне тяжелое материальное положение Лимаса! Только не вздумайте рассказывать мне, будто во всем виноват Смили, которого замучила совесть. Тут замешана рука Лондона. Зачем же им понадобилось идти на такой риск?

Лимас пожал плечами.

— Прав был Смили,— сказал он.— Мы не могли управлять последующими событиями. Мы, например, не ожидали, что меня привезут сюда. В Голландию — да. Но сюда...— Он помолчал.— А что вы привезете девушку, я уж и совсем не мог предположить. Я был последним кретином...

— Чего нельзя сказать о Мундте,— поспешил вставить Фидлер.— Он точно знал, чего хотеть. Он даже знал, что девушка даст необходимые показания. Необыкновенная прозорливость с его стороны, должен вам заметить. Даже история с контрактом не осталась для него секретом. Просто удивительно! И как только ему удалось узнать об этой истории! Девушка ему наверняка ничего о контракте не говорила. Я хорошо представляю себе характер девушки — она звука не проронила. Может быть, Мундт скажет нам,— Фидлер пристально посмотрел на Мундта,— каким образом ему удалось узнать о контракте?

«Мундт слишком медлит с ответом»,— подумал Лимас.

— По подписи,— сказал наконец Мундт.— Месяц тому назад девушка начала платить партийные взносы на десять шиллингов больше. Мне стало об этом известно, я постарался выяснить, откуда у нее появилась такая возможность, и мне это удалось.

— В высшей степени квалифицированный ответ,— холодно заметил Фидлер.

Наступила тишина.

— Я полагаю,— сказала председательница, испытующе посмотрев на своих коллег,— что Трибунал готов отчитаться перед Президиумом. Если, конечно, вам,— она уставилась на Фидлера своими маленькими, колючими глазками,— нечего добавить.

Фидлер опустил голову. Казалось, его что-то еще поражает.

— В таком случае,— продолжала председательница,— мои коллеги согласились на том, что товарищ Фидлер должен быть отстранен от занимаемой должности до тех пор, пока исполнительный комитет Президиума не рассмотрит вопрос о нем. Что касается Лимаса, то он остается под арестом. Напоминаю, что Трибунал не облечен исполнительной властью. Народный прокурор в сотрудничестве с товарищем Мундтом, безусловно, решит, какие меры наказания следует применить к английскому шпиону, провокатору и убийце.

Она посмотрела на Лимаса и затем на Мундта. Но Мундт не ответил на ее взгляд: он разглядывал

Окончание. См. «Огонек» №№ 15—22.



Рисунок Вячеслава ЛОСЕВА

Фидлера, как палач, который оценивает будущую жертву.

И вдруг, как иногда случается с человеком, который слишком долго обманывал и под конец попался сам, Лимас с беспощадной ясностью до конца понял истинный план операции и ужаснулся.

КОМИССАР

Лиза стояла у окна спиной к охраннице и рассеянно смотрела во двор. Наверно, сюда выводят заключенных на прогулку. А комната, где она находится, видимо, чей-то кабинет. На столе возле телефонов — тарелка с едой, но Лиза к ней даже не притронулась. Ее тошнило, усталость свинцом налила все тело, болели ноги, лицо вспухло от слез, она была грязной. Сейчас бы в ванну! Хоть ненадолго!

— Почему не ешь? — опять спросила женщина.— Теперь уже все позади.

Охранница уговаривала ее отнюдь не из сострадания. Просто глупо не есть, когда дают.

— Не голодна я,— ответила Лиза.

Охранница пожала плечами.

— Тебе предстоит долгий путь,— заметила она,— да и приедешь — не очень-то разживешься.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что в Англии рабочим жрать нечего,— уверенно заявила охранница,— капиталисты их морят голодом.

Лиза собралась было возразить, но передумала. Ей нужно побольше разузнать, как можно больше, а эта женщина, безусловно, может ей сообщить много сведений.

— Где мы сейчас находимся?

— Будто ты не знаешь! — рассмеялась женщина.— Спросила бы их,— она кивнула на окно,— они живо тебе растолковали бы.

— Кто они такие?

— Заключенные.

— Что за заключенные?

— Враги народа, шпионы, агитаторы.

— Откуда вам известно, что они шпионы?

— От партии ничего не скроешь. Партия знает о людях больше, чем они сами о себе. Тебе что, не говорили об этом? — Охранница посмотрела на нее, покачала головой и заметила: — Англичане! Богачи отняли у вас будущее, а ваши бедняки продолжают их кормить. Вот что стряслось с англичанами.

— Кто вам это сказал?

Женщина только улыбнулась, но ничего не ответила. Она, казалось, была собой очень довольна.

— Значит, в этой тюрьме держат шпионов? — переспросила Лиза.

— Держат тех, кто отвергает социалистическую действительность, тех, кто думает, что ошибаться не грех, тех, кто тормозит развитие общества,— одним словом, изменников,— заключила охранница.

— Но в чем все-таки их вина?

— Социализм нельзя построить до тех пор, пока из людей не выкорчуют индивидуализм. Как ты воздвигнешь большое здание, если какая-то свинья строит на твоем пути свой свинарник?

— Откуда вы все это знаете? — удивилась Лиза.

— Я здесь комиссар, в этой тюрьме,— гордо ответила женщина.

— Вы очень умная,— сказала Лиза, подходя к ней.

— Я принадлежу к рабочему классу. Концепция о том, что умственный труд — труд высшей категории, должна быть разрушена. Никаких категорий — только рабочие. Нет разницы между физическим и умственным трудом. Ты что, Ленина не читала?

— Значит, в этой тюрьме сидят мыслящие люди?

— Да,— улыбнулась женщина,— реакционеры. Только называют они себя прогрессивным элементом. Для них личность важнее государства. Тебе известно, что Хрущев сказал о контрреволюции в Венгрии?

Лиза покачала головой. Нужно проявлять интерес, нужно заставить женщину говорить.

— Он сказал, что ничего подобного не случилось бы, если бы вовремя расстреляли парочку писателей.

— А кого расстреляют после этого суда? — живо заинтересовалась Лиза.

— Лимаса,— равнодушно ответила женщина,— да еще этого еврея Фидлера.

Лиза почувствовала, что теряет сознание. Но ей все же удалось нащупать спинку стула и сесть.

— А что Лимас сделал? — выдохнула она.

Женщина на нее посмотрела маленькими, хитрыми глазками. Тяжелое лицо, дряблая, бледная кожа, редкие волосы собраны в узел на жирном затылке.

— Убил охранника,— ответила она.

— Как?

Женщина пожала плечами.

— А еврей,— продолжала она,— возвел поклеп на преданного товарища.

— И за это Фидлера расстреляют? — усомнилась Лиза.

— Все евреи одним миром мазаны,— откомментировала женщина.— Товарищ Мундт знает, что делать с евреями. Не нужны они нам тут. Стоит им вступить в партию, как они уже воображают, будто она их собственность, а если они не вступают в партию, то считают ее своим врагом. Лимас и Фидлер, значит, устроили заговор против Мундта. Ну, будешь есть? — спросила она, показывая на стол.

Лиза покачала головой.

— Тогда я должна это съесть,— заявила она, намекая на то, что того требует от нее долг службы.— Смотри-ка, картошки тебе дали! Не иначе как хахаль у тебя на кухне завелся.

Она так вдохновилась своей остротой, что уплела всю Лизину порцию до последней крошки.

Лиза находилась в полном смятении. Мучительный клубок стыда, горя, страха подкатывал к горлу и душил ее, а перед глазами стоял Лимас. Он сидит

в зале суда, она в последний раз смотрит на него, а он избегает ее взгляда. Она его погубила, и у него не хватает духу даже взглянуть на нее перед смертью: не хочет, чтобы она прочла на его лице презрение, а возможно, и страх.

Но что же она могла сделать? Если бы только Лимас научил ее, как себя вести! Она и сейчас еще этого не знает. Пусть бы только подсказал! Ради него она готова лгать, хитрить — все, что угодно. Не мог он в этом сомневаться, он достаточно хорошо ее знает, она жизнь за него отдаст. И больше всего на свете она хотела доказать ему это на деле. Но откуда ей было знать, как отвечать на эти каверзные вопросы! Она чувствовала, что натворила что-то страшное. Воспаленное воображение рисовало ей жуткую картину. Она, совсем еще маленькая девочка, вдруг узнает, что, ступая по земле, каждым своим шагом она убивает сотни крохотных живых существ, и ее охватывает ужас. И вот теперь, лгала ли она, говорила ли правду или даже молчала, она убивала человека — сомнений на этот счет быть не могло,— а возможно, и двух людей сразу. Потому что есть еще этот еврей Фидлер, который к ней так тепло отнесся, взял за руку, сказал, чтобы она уехала в Англию... Фидлера расстреляют — так сказала охранница. Но почему Фидлера? Почему не того старика, который задавал ей вопросы, или того блондина, что сидел в первом ряду между стражей и все время улыбался? Стоило ей обернуться, как она видела его светлые волосы, гладкое, жестокое лицо и легкую улыбку, будто все происходящее было лишь шуткой. Только и утешала мысль о том, что Лимас и Фидлер оказались в одном лагере.

— Чего мы здесь ждем? — спросила она у охранницы.

Та отодвинула тарелку и встала.

— Инструкций,— ответила она,— они решают, нужно ли тебе остаться.

— Остаться? — удивилась Лиза.

— А вдруг потребуются еще доказательства! Может, Фидлера раньше судить будут! Я же тебе сказала: Фидлера подозревают в том, что он в заговоре с Лимасом.

— Против кого? И как они могли устроить заговор? Лимас жил в Англии... Как он сюда попал? Он же не член партии!

Женщина покачала головой.

— Секрет,— сказала она.— Кроме Президиума, это никого не касается. Может, еврей его сюда привез...

— Но вы-то знаете,— настаивала Лиза, стараясь польстить ей,— вы же комиссар тюрьмы, от вас-то они не скрыли!

— Может, и не скрыли, да секрет есть секрет,— ответила самодовольно женщина.— Большой секрет,— повторила она.

Зазвонил телефон. Женщина сняла трубку, послушала, потом, посмотрев на Лизу, сказала: «Да, да, товарищ, сейчас»,— и положила трубку.

— Так и есть, тебе нужно остаться,— обратилась она к Лизе.— Президиум будет разбирать дело Фидлера, поэтому тебя пока оставляют здесь. Так распорядился товарищ Мундт.

— А кто такой Мундт?

Женщина хитро посмотрела на нее.

— Так распорядился Президиум,— сказала она.

— Я не хочу оставаться! — крикнула Лиза.— Я хочу...

— Партия знает о нас больше, чем мы сами о себе,— перебила женщина.— Ты должна остаться здесь. Так хочет партия.

— А кто такой Мундт? — снова спросила Лиза, но ответа не получила.

Она медленно шла за охранницей по нескончаемым коридорам, проходила мимо решеток, мимо часовых, мимо железных дверей, за которыми не слышалось ни звука, сходила вниз по длинным лестницам, пересекала подземные дворы, и, наконец, ей показалось, что она спускается в саму преисподнюю и там уже никто ей не скажет, когда Лимас умрет.

Она не знала, который час, когда в коридоре возле ее камеры послышались шаги. Наверно, часов пять вечера, а может, полночь. С тех пор как она попала в камеру, она ни разу не заснула, только вглядывалась в темноту и прислушивалась к тишине. Ей и в голову не приходило, что тишина может быть такой страшной. Один раз она не выдержала и закричала — даже эхо ей не ответило. Только воспоминание о собственном голосе осталось. Ей показалось, что крик разбился о твердую, как скала, темноту. Не вставая с кровати, она пошарила в темноте руками — руки отяжелели, словно опущенные в воду. Она знала, что камера маленькая. Кровать, на которой она сидела, умывальник без крана и грубый деревянный стол. Все это она заметила, когда входила в камеру, но дверь за ней сразу же закрылась, и наступила кромешная мгла. Она бросилась на кровать, ударившись о железную спинку — не рассчитала расстояния,— и сидела, дрожа от страха, пока не послышались шаги и дверь камеры резко распахнулась.

Она сразу же его узнала, хотя на фоне тусклого света в коридоре силуэт едва вырисовывался. Строгий профиль, прямая линия щеки, короткие волосы.

— Это я, Мундт,— сказал он.— Иди за мной. Живо!

Голос звучал презрительно, но сдержанно, словно он боялся, чтобы его не подслушали. Лиза помертвела. Она вдруг вспомнила слова охранницы: «Мундт знает, что делать с евреями»,— и стояла у кровати, не зная, как быть, и не сводя с него глаз.

— Скорее, дура! — Он сделал шаг вперед и схватил ее за руку.— Скорее!

Она дала себя вывести в коридор. Потрясенная, она смотрела, как Мундт тихонько запирает дверь камеры. Грубо схватив ее за руку, он чуть ли не бегом провел ее по первому коридору. До нее доносился отдаленный шум кондиционеров, и время от времени слышались шаги в соседнем коридоре. Она заметила, что Мундт соблюдает осторожность: у поперечных коридоров останавливается и даже возвращается назад, не идет дальше, пока не убедится, что впереди никого нет. Он, видимо, не сомневался, что она следует за ним и понимает, в чем дело, словно находится с ним в заговоре.

Вдруг он остановился и вставил ключ в замочную скважину металлической двери. Лиза ждала, холодея от ужаса. Он распахнул дверь, и морозный ночной воздух ударил ей в лицо. Он поспешно обернулся к ней, и она спустилась за ним по двум ступенькам на посыпанную гравием дорожку, проложенную через огород. По этой дорожке они дошли до готических ворот. За воротами на дороге стояла машина, а перед ней — Алек Лимас. Она двинулась было вперед, но Мундт сказал: «Стой здесь и жди».

Мундт подошел к Лимасу один, а Лиза ждала, как ей показалось, целую вечность. Она смотрела на обоих мужчин, которые тихо и торопливо переговаривались между собой. Сердце бешено колотилось. От холода и страха она дрожала всем телом. Наконец Мундт вернулся.

— Идем,— сказал он и подвел ее к Лимасу.

Мужчины быстро переглянулись.

— До свидания,— равнодушно произнес Мундт.— Вы, Лимас, все-таки сумасшедший,— добавил он.— Она такая же дрянь, как и Фидлер.

Не сказав больше ни слова, он повернулся и быстро ушел в темноту.

Она хотела обнять Алека, но он, почти отвернувшись, снял ее руку со своего плеча, открыл дверцу и знаком пригласил ее сесть в машину. Она медлила.

— Алек,— прошептала она,— Алек, что происходит? Почему он тебя отпустил?

— Замолчи,— тоже шепотом сказал Лимас,— даже думать об этом не смей, слышишь? Садись.

— Что он сказал о Фидлере? Алек, почему он нас отпустил?

— Потому что мы свое дело сделали. Скорей садись!

Подчиняясь его непреклонной воле, она села в машину и закрыла дверцу. Лимас сел за руль рядом с ней.

— Что за сделку ты с ним заключил? — не унималась она, и в голосе звучали подозрение и страх.— Мне сказали, что тебя будут судить за заговор против Мундта. Тебя и Фидлера. Как же он тебя отпустил?

Лимас уже вел машину на большой скорости. По обеим сторонам узкой дороги тянулись поля, вдали темнели холмы, а у самого горизонта горы сливались с ночным небом. Лимас посмотрел на часы.

— Мы в пяти часах езды от Берлина,— сказал он,— нам нужно прибыть в Копеник без четверти час. Мы вполне успеваем.

Лиза долго молчала. Она смотрела в окно на пустую дорогу, мысли путались в ее голове, она не могла в них разобраться. Взошла полная луна, и над полями повисли причудливые хлопья морозного тумана. Они выехали на шоссе.

— Ты заставил Мундта меня отпустить, потому что тебя замучила совесть из-за меня? — спросила она наконец.

Лимас не ответил.

— Вы с Мундтом враги, верно?

Он снова промолчал. Машина шла теперь на очень большой скорости — спидометр показывал сто двадцать километров в час. Дорога стала ухабистой и тряской. Лимас рвался вперед, не снимая рук с баранки. Лиза заметила, что он даже не гасит фар перед встречными машинами.

— Что будет с Фидлером? — неожиданно спросила Лиза, и на этот раз Лимас ответил:

— Его расстреляют.

— Почему же не расстреляли тебя? — поспешно спросила Лиза.— Ты был в заговоре с Фидлером против Мундта, да еще, говорят, ты убил охранника. Почему же Мундт тебя отпустил?

— Ладно! — вдруг выкрикнул Лимас.— Отвечу на твой вопрос! Я сейчас скажу тебе то, чего ни ты, ни я не должны были бы знать: Мундт — английский агент, Лондон купил его, когда он был в Англии. Мы присутствовали при развязке грязной истории, затеянной, чтобы спасти шкуру Мундта. Спасти от умного еврея, работавшего у него в отделе и начавшего догадываться об истинном положении вещей. Нас заставили убить его, понимаешь, убить этого умного еврея. Теперь ты все знаешь, и да поможет нам Бог, тебе и мне.

СТЕНА

— Если так, Алек,— сказала она наконец,— какую же роль во всей этой истории играла я?

Голос звучал спокойно, по-деловому.

— Об этом, Лиза, я могу только догадываться. Судя по тому, что знаю сам и что мне сказал Мундт, перед тем как отпустил нас, Фидлер начал подозревать Мундта с того самого момента, как тот вернулся из Англии. Подозревать в том, что он ведет двойную игру. Конечно, Фидлер его ненавидел — еще бы! — но, независимо от этого, он оказался прав: Мундт действительно агент Лондона. Фидлер занимал слишком высокий пост, чтобы Мундт мог убрать его сам. Поэтому Лондон решил это сделать за Мундта. Только теперь я понял, как ловко все подстроено. Я так и вижу, как они сидят у камина в одном из своих вонючих клубов и разрабатывают план. Они знали, что просто убрать Фидлера — мало: он мог уже кое-что рассказать своим друзьям, подготовить письменное обвинение. Им нужно было убить саму возможность подозрения. И они организовали публичное оправдание Мундта.

Он свернул в левый ряд, стараясь обогнать грузовик с прицепом. Но грузовик неожиданно загородил им дорогу. Лимасу пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в забор слева от него.

— Мне велели подобрать факты таким образом, чтобы они свидетельствовали против Мундта,— продолжал он просто,— и сказали, что его нужно убрать. Я согласился. Это было мое последнее задание перед уходом на пенсию. Выполняя его, я, как ты знаешь, прикинулся опустившимся человеком, побил лавочника...

— И начал жить со мной? — поспешно спросила она.

Лимас покачал головой.

— Но трюк состоял в том,— продолжал он,— что Мундту было все известно, весь план. Вместе с Фидлером они велели своим людям доставить меня сюда. Дальше Мундт предоставил Фидлеру действовать по его усмотрению, так как знал, что в конечном итоге Фидлер сам себе роет яму. Мое задание сводилось к тому, чтобы убедить их в истинной правде: в том, что Мундт — английский шпион. Твоя же роль заключалась в том, чтобы разоблачить меня. А дальше все очень просто. Мундт в результате разоблачения спасается от фашистского заговора, а Фидлера приговаривают к расстрелу. Старый способ — доказательство от противного.

— Но как они узнали о моем существовании? Как могли предвидеть, что мы встретимся? — воскликнула Лиза.— Что за сверхъестественное провидение, Алек? Получается, что им дано предсказывать, когда люди влюбятся друг в друга?

— Не в этом дело. Они выбрали тебя потому, что ты молодая и красивая. Да еще член партии. Значит, тебя можно направить в Германию. Потому-то Питт из бюро по трудоустройству и послал меня в библиотеку. Во время войны Питт работал в разведке, и, как я понимаю, ему дали задание. Им нужно было только одно: свести нас вместе. Пусть хоть на один день — не важно. В таком случае они получали возможность, посылая тебе деньги, создать видимость связи между нами, даже если бы ее и не было. Понимаешь? Кстати, необязательно создавать видимость связи, слепое увлечение с моей стороны тоже годится. Главное — свести нас, получить возможность посылать тебе деньги от моего имени. Мы же только облегчили им задачу.

— Да, Алек... Я чувствую себя так, словно меня вываляли в грязи.

Лимас ничего не сказал.

— А что, твоему отделу приятнее использовать члена партии, чем беспартийную девушку? — спросила Лиза.

— Возможно,— сказал Лимас.— Хотя, по правде говоря, им безразлично. Просто более подходящий вариант для данной операции — только и всего.

— Мундт хотел оставить меня в тюрьме, верно? Он считал безумием с твоей стороны идти на риск. Могло случиться, что я слишком много знаю, о многом догадываюсь. Фидлер-то невиновен. Просто поскольку он еврей,— сказала она взволнованно,— то это для них не имеет значения, верно?

— Ради Бога! Прошу тебя! — воскликнул Лимас.

— Все-таки очень странно, что Мундт меня отпустил. Даже если он заключил с тобой какую-то сделку. Я теперь для них опасна. Вернее, буду опасна, когда вернемся в Лондон: член партии, знающий

такие вещи. Не вижу логики в том, что он меня отпустил.

— Я думаю,— сказал Лимас,— наше бегство послужит Мундту хорошим предлогом доказать Президиуму, что в отделе есть и другие фидлеры, которых нужно сбросить с их постов.

— Другие евреи?

— Таким способом он укрепит свое положение,— сухо ответил Лимас.

— Убив еще больше невиновных людей? Ты, кажется, не очень беспокоишься на этот счет.

— Беспокоюсь, очень беспокоюсь! Я сгораю от стыда, от ярости, от... Но я иначе воспитан, Лиза. Я не могу видеть мир черно-белым. Люди, ведущие сложную игру, идут на риск. Фидлер проиграл — Мундт выиграл. А с ним заодно и Лондон. Вот в чем суть. Операция действительно гнусная. Но она увенчалась успехом, а это единственный критерий игры.

Он говорил все громче и громче, почти кричал.

— Ты пытаешься уговорить самого себя,— оборвала его Лиза.— Подлость есть подлость. Как ты мог убить Фидлера? Он честный, Алек, я знаю, что он честный, а Мундт...

— Почему ты предъявляешь претензии? — безжалостно перебил Лимас.— Твоя партия тоже ведет постоянную войну. Разве не так? Личность в жертву массам — вот ее девиз. Что такое социалистическая действительность? Борьба днем и ночью. Беспощадная борьба! Разве не так они заявляют? Хорошо еще, что ты уцелела. Я никогда не слышал, чтобы коммунисты проповедовали неприкосновенность человеческой жизни. Может, я ошибаюсь? — саркастически спросил он.— По их замыслу, тебя должны были уничтожить. Мундт — грязная свинья. Он не видел смысла оставлять тебя в живых. Его обещания — а я полагаю, он тебе обещал сделать все возможное для твоего спасения — не стоят выеденного яйца. Так что ты могла умереть в любой момент: сегодня, завтра, через год... Сгнить в тюрьме, в их раю для рабочих. Как, впрочем, и я. Но, насколько мне известно, цель твоей партии — разрушить целый класс. Или я ошибаюсь?

Он достал из кармана пачку сигарет и протянул ей вместе со спичками. Она закурила сама и протянула зажженную сигарету Лимасу. Руки у нее дрожали.

— Я вижу, ты досконально изучил вопрос,— заметила она.

— Есть люди, которые случайно попадают под нужные им мерки,— продолжал Лимас.— Таких мне очень жаль. В том числе и себя самого. Но не нужно жаловаться на правила игры, Лиза. Эти правила навязаны твоей партией: за маленькую цену — большая прибыль. Один приносится в жертву многим. А вот когда нужно выбрать этого одного, перейти от теории к живому человеку, тогда картина получается не очень-то привлекательной, я это знаю.

Она слушала его внимательно, но, скованная ужасом, не могла ничего осознать, кроме темной дороги, раскручивающейся перед ними.

— Однако они дали мне возможность любить тебя,— наконец сказала она,— и ты сам позволил поверить в тебя и полюбить.

— Они нас использовали,— безжалостно сказал Лимас.— Обманули обоих, потому что им так нужно было. Другого выхода не было. Как ты не понимаешь? Фидлер находился почти у цели, Мундт, можно сказать, был обречен, что тут не понимать...

— Ты удивительно умеешь перевернуть все наоборот! — вдруг крикнула она.— Фидлер — хороший человек. Он просто честно выполнял свою работу, а ты его убил. Мундт — фашист. Ты что, об этом не знаешь? Он ненавидит евреев. На чьей же стороне ты? Как ты можешь...

— В этой игре действует только один закон,— возразил Лимас.— Мундт их человек, и он им нужен. Нужен, чтобы массы слепых глупцов, которыми ты так восхищаешься, спокойно спали по ночам в своих постелях. Чтобы обеспечить безопасность простым людям, как мы с тобой.

— А как же все-таки Фидлер? Его судьба тебя не тревожит?

— Война есть война,— возразил Лимас.— История с Фидлером тебя беспокоит потому, что она происходит у тебя под носом, ты ее видишь воочию. И для меня не секрет, что иногда гибнет много невинных людей. Но это капля в море по сравнению с другими войнами, например, с прошлой или с будущей.

— О господи,— сказала Лиза мягко,— ничего ты не понимаешь. Не хочешь понять. Стараешься убедить самого себя. То, что они делают, намного хуже, чем ты пытаешься представить. Они выискивают в людях гуманные чувства — во мне и в других — и обращают эти чувства в свое оружие пыток, насилия, убийства...

— Боже праведный! — воскликнул Лимас.— А чем же еще люди занимались и занимаются от сотворения мира и до наших дней? Я ни во что не верю. Понимаешь, ни во что! Включая разрушение и анархию. С меня довольно убийств, они стоят у меня поперек горла. Но я не вижу, что еще остается делать лондонским заправилам. Они не переходят в чужую веру, не проповедуют с амвона веру в Бога, не прокламируют с партийных трибун борьбу за мир или за что бы то ни было. Они просто жалкие выродки, которые пытаются помешать апостолам разных религий перегрызть друг другу глотки.

— Ты не прав,— безнадежно сказала Лиза,— они гораздо хуже всех нас.

— Потому что я с тобой жил, прикинувшись бродягой? — в ярости спросил Лимас.

— Потому что они презирают все подлинно ценное,— возразила Лиза.— Презирают любовь, презирают...

— Верно,— неожиданно согласился Лимас, почувствовав вдруг бесконечную усталость.— Такова цена, которую они платят за то, что презирают Бога и Карла Маркса, вместе взятых. Если ты это имеешь в виду.

— Безразличие ставит тебя на одну доску с Мундтом и остальными,— продолжала Лиза.— Я знаю, меня нужно было убрать с дороги: я им мешала. А тебе я мешала потому, что тебе все безразлично. Только Фидлеру я не мешала. Но всем вам... Все вы обращались со мной как с пустым местом, как с разменной монетой... Все вы, Алек, одинаковые.

— Лиза, ради Бога, поверь мне,— сказал он в отчаянии,— я все это ненавижу лютой ненавистью. Я устал, с меня довольно. Но мир сошел с ума, человечество взбесилось. Мы капля в море. Кто с нами считается?! Что мы можем изменить?! Везде одно и то же. Людей используют в корыстных целях, расстреливают, сажают в тюрьмы, стирают с лица земли целые классы. Посмотри на себя! Твоя партия построена на трупах простых людей. Тебе никогда не приходилось видеть смерть простых людей так близко, как видел ее я...

Пока он говорил, Лиза вспоминала тюремный двор и слова охранницы: «В этой тюрьме держат тех, кто тормозит развитие общества, тех, кто думает, что ошибаться не грех...»

Вдруг Лимас внимательно и напряженно стал вглядываться через ветровое стекло. В свете фар Лиза различила силуэт мужчины. Он стоял на дороге и маленьким фонариком описывал круги в воздухе. «Это он»,— пробормотал Лимас, выключил фары и тихонько подъехал к нему. Поравнявшись с ним, Лимас откинулся назад и открыл дверцу.

Лиза не обернулась, когда человек садился в машину. Она молча смотрела перед собой на затопленную дождем дорогу.

— Поезжайте на скорости тридцать километров в час,— сказал человек напряженным, взволнованным голосом.— Я покажу вам дорогу. Когда приедем туда, вам придется выйти из машины и добежать до того места, где вы должны перебраться через стену. Прожектор будет включен. Не шевелитесь, пока луч не переместится подальше. Только тогда начинайте карабкаться. В вашем распоряжении будет девяносто секунд. Вы — первый,— сказал он Лимасу,— девушка за вами. Внизу есть железные скобы, а дальше будете карабкаться, уж как сможете. Доберетесь до верха, сядете и втащите ее. Поняли?

— Поняли,— сказал Лимас.— Сколько у нас остается времени?

— При скорости тридцать километров в час мы доедем туда примерно минут за девять. Прожектор осветит стену ровно в пять минут второго. У вас только девяносто секунд и ни на одну больше.

— А что произойдет через девяносто секунд? — спросил Лимас.

— Вам дается только девяносто секунд,— повторил человек.— Иначе совсем опасно. Всего один пост в курсе дела. Им сказали, что вас хотят заслать в Западный Берлин и нужно сохранить видимость простого побега. Девяносто секунд достаточно.

— Надеюсь,— сказал Лимас сухо.— Сколько на ваших?

— Я сверил свои часы с часами сержанта подразделения,— ответил человек и зажег на секунду свет над задним сиденьем.— Сейчас двадцать четыре часа сорок восемь минут. Еще семь минут ждать.

Они сидели в полной тишине, и только дождь стучал по машине. Перед ними расстилалась мощеная дорога, слабо освещенная фонарями, отстоящими друг от друга на расстоянии ста метров. Вокруг ни души. Небо светится каким-то искусственным светом. Время от времени вдали вспыхивает луч и гаснет. Слева над горизонтом Лимас заметил мигающий свет. Что-то вроде отблесков пожара.

— Что там? — спросил он.

— Служба информации,— ответил человек.— Световое табло указывает направление на Восточный Берлин.

— Ясно,— пробормотал Лимас.

Они почти прибыли к назначенному месту.

— О том, чтобы вернуться назад, не может быть и речи,— сказал человек.— Он вас предупредил? Второго случая бежать не будет.

— Я знаю,— ответил Лимас.

— Если что-нибудь не получится, скажем, вы упадете или ушибетесь,— назад не возвращайтесь. В районе стены стреляют. Вам необходимо перебраться на ту сторону.

— Мы знаем,— повторил Лимас.— Он меня предупредил.

— Из машины вы должны выйти, когда подъедем к району стены.

— Тоже знаем. Заткнитесь,— огрызнулся Лимас и, помолчав, добавил: — Машину отвезете обратно?

— Как только вы из нее выйдете. Для меня тоже опасно находиться здесь,— ответил человек.

— Совсем скверно,— сухо заметил Лимас.

Снова молчание. Потом он спросил:

— У вас есть пистолет?

— Да,— сказал человек,— но я не могу его дать вам. Он предупредил, чтобы я не давал, хоть вы наверняка будете просить.

— Именно этого я от него и ожидал,— рассмеялся Лимас.

Он нажал на стартер, и машина медленно двинулась. Им показалось, что она подняла шум на всю улицу.

Метров через триста человек возбужденно прошептал: «Теперь направо, а потом налево». Они выехали на узкую поперечную улицу. По обеим сторонам стояли пустые ларьки, между которыми машина едва проходила.

— Сейчас налево!

Они снова повернули и очутились как бы в тупике между двумя высокими домами. Через улицу была натянута веревка с бельем, и Лиза усомнилась, удастся ли им проехать под ней. В конце, как им казалось, тупика человек сказал:

— Снова налево и прямо.

Лимас выехал на широкую улицу. Слева стоял сломанный забор, справа — высокое здание без окон. Где-то над ними послышался женский голос, и Лимас пробормотал: «Заткнись-ка, ты». Он развернулся чуть ли не под прямым углом и выехал на широкую дорогу.

— Теперь куда?

— Прямо и между аптекой и почтой свернете.

Человек так сильно наклонился вперед, что почти касался головой их голов. Пальцем он уперся в ветровое стекло, показывая дорогу.

— Откиньтесь назад и уберите руку,— прошипел Лимас,— я же из-за вас ничего, черт возьми, не вижу.

Он быстро пересек дорогу и неожиданно увидел с левой стороны приземистый силуэт Бранденбургских ворот. Метрах в трехстах, не больше. У их основания тянулась мрачная линия военных укреплений.

— Мы почти приехали. Сбавляйте скорость. Налево, налево! Сворачивайте налево! — крикнул человек.

Лимас едва успел повернуть руль. Они въехали через ворота в какой-то двор. Почти все окна без стекол или забиты досками. Двери настежь. На другом конце двора еще ворота.

— Выезжайте через те ворота,— поспешно прошептал человек,— и сразу же направо. Там увидите фонарь. За ним еще один, разбитый. Доедете до него, выключайте газ и катите, пока не увидите светящийся пожарный кран.

— Какого черта вы сами не сели за руль?

— Он предупредил, чтобы машину вели вы, что так безопаснее.

Они выехали из ворот, резко свернули направо и оказались на узкой, темной улице.

— Выключайте фары!

Лимас выключил фары и медленно поехал к первому фонарю. А вот и второй фонарь. Метров через двадцать, миновав пожарный кран, Лимас нажал на тормоза, и машина остановилась.

— Где мы? — тихо спросил он.— Мы только что пересекли Лениналлее, верно?

— Грейфсвольдерштрассе. Потом повернули на север, и сейчас мы на Бернауэрштрассе.

— Панков?

— Совсем близко. Смотрите,— сказал человек, показывая на пересекающую улицу.

На противоположном ее конце в колеблющемся свете прожекторов маячила серо-коричневая стена. Поверху натянут тройной ряд колючей проволоки.

— Как девушка переберется через проволоку? — спросил Лимас.

— В этом месте проволока перерезана. У вас остается одна минута, чтобы добраться до стены. Прощайте.

Все трое вышли из машины. Лимас взял Лизу за руку. Она вздрогнула, словно он причинил ей боль.

— Прощайте,— повторил немец.

— Не угоняйте машину, пока мы не переберемся на ту сторону,— все-таки прошептал Лимас.

Лиза посмотрела на немца. Молодое, грустное лицо юноши, который силится казаться храбрым.

— Прощайте,— сказала Лиза.

Она высвободила свою руку, пересекла вслед за

Лимасом дорогу и вошла в узкую улочку, ведущую к стене.

В этот момент они услышали, как машина отъехала и помчалась в обратный путь.

— Так-так, сволочь, отбирай от нас соломинку,— прошептал Лимас, оглядываясь на удаляющуюся машину.

Лиза едва расслышала его слова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ХОЛОДА

Они шли быстрым шагом. Время от времени Лимас оглядывался проверить, не отстала ли Лиза. В конце улочки он остановился, нырнул в тень от подъезда и посмотрел на часы.

— Две минуты,— прошептал он.

Лиза ничего не сказала и только пристально смотрела на стену, по другую сторону которой высилась темная глыба разрушенных домов.

— Две минуты,— повторил Лимас.

Перед ними вдоль стены тянулась открытая зона метров в тридцать. Справа метрах в шестидесяти виднелась сторожевая вышка. Установленный на ней прожектор прочесывал открытую зону. В воздухе повис мелкий дождь, размывая беловатый свет ламп. Что за ними — не видно. Вокруг ни души. Ни единого звука. Пустая сцена с мрачными декорациями.

Луч прожектора, посылаемый со сторожевой вышки, начал прощупывать стену, направляясь в их сторону. Каждый раз, когда он останавливался, они различали отдельные кирпичи и неровные цементные жилки между ними. Вот луч остановился прямо напротив них. Лимас посмотрел на часы.

— Ты готова? — спросил он.

Она кивнула.

Взяв ее за руку, он уверенным шагом направился к открытому пространству. Лизе хотелось бежать бегом, но он ее так крепко держал, что об этом и думать было нечего. Они прошли уже половину расстояния до стены. Ослепительный полукруг повис над ними. Лимас твердо решил не отпускать Лизу от себя ни на шаг: боялся, что Мундт не сдержит своего обещания и в последнюю минуту каким-нибудь способом отнимет ее у него.

Они почти дошли до стены, когда луч резко свернул на север, оставив их в полной темноте. Не выпуская Лизиной руки, Лимас продолжал идти на ощупь, выставив вперед левую руку, пока она не наткнулась на неровную поверхность кирпичей. Теперь он различил стену и, подняв глаза, увидел колючую проволоку, натянутую в три ряда на железные рогатки. Они напоминали черных питонов, задравших головы к небу. Карабкаясь к самой высокой из них, Лимас подтянулся на руках и очутился на верху стены. Дернул проволоку книзу — разрезана.

— Поднимайся,— прошептал он.

Он лег плашмя, спустил руку и поймал Лизину руку, которую она ему протянула. Ногами Лиза искала первую металлическую скобу. Лимас начал подтаскивать Лизу к себе.

Вдруг вся стена вспыхнула огнем: со всех сторон, сверху, с боков на нее хлынули лучи и, скрестившись, засекли его и Лизу.

Ослепленный прожекторами, Лимас отвернул лицо и сильно потянул Лизу за руку. Лиза повисла на ней, а ему показалось, что она соскользнула со скобы, и, заорав как сумасшедший, он еще сильнее стал тащить Лизу вверх. «Сюда, сюда, ко мне, ко мне...» Он ничего не видел, кроме цветных кругов, которые плясали у него перед глазами.

И тут истерически завыли сирены, отдавая приказ всем постам. Привстав на колени, Лимас схватил Лизу за обе руки и, почти теряя равновесие, сантиметр за сантиметром начал втаскивать ее наверх.

Тогда они открыли огонь. Раздалось одновременно несколько отдельных выстрелов, и Лиза вздрогнула. Он почувствовал, как ее тонкие руки выскользнули из его рук. По другую сторону стены кто-то крикнул ему по-английски:

— Прыгай, Алек, прыгай, старина!

Потом закричали все вместе, его звали на всех языках сразу: на английском, на французском, на немецком... Он довольно отчетливо услышал голос Смили:

— А девушка? Где девушка?

Прикрыв глаза рукой от слепящего света, Лимас посмотрел вниз. Она неподвижно лежала у подножия стены. На секунду он задумался, но тут же начал медленно спускаться по уже знакомым уступам и очутился возле нее. Лиза была мертва. Лицо повернуто к стене, черные волосы прикрыли щеку, словно предохраняя ее от дождя.

Казалось, они не решаются снова открыть огонь. Раздалась команда, но выстрелов так и не последовало. Наконец, первый выстрел в него, потом второй и третий. Лимас стоял неподвижно и поводил вокруг себя остекленевшими глазами — ослепший бык посреди арены. Уже падая, он увидел перед собой маленькую машину. В ней сидели дети и весело махали ему руками.

Перевела с английского С. ТАРТАКОВСКАЯ.

Лев Лосев — плоть от плоти ленинградской (читай: петербургской) школы. Учение в ней — тяжелое испытание, проверка на физическую прочность таланта. Робкий юноша с первой тетрадкой стихотворений, войдя в это трагически разрушающееся здание, рискует быть похороненным под его обломками, потеряться, застыть в благоговейном молчании или до конца дней говорить не своим голосом. Но риск трижды оправдан, ведь шанс стать как бы частью этого здания, частью несущей (все еще!) конструкции стоит многого. Это удалось Иосифу Бродскому. Это удалось Льву Лосеву, автору двух почти не известных на родине, но заслуживших восторженную оценку в эмиграции книг стихотворений — «Чудесный десант» и «Тайный советник».

Лев ЛОСЕВ

* * *

**Ты слышишь ли, створки раскрылись, але,
не кемарь,
как есть, неумыт и нечесан, ступай за порог,
туда, где от краешка неба отбита эмаль
и носик рассвета свистит, выпуская парок.**

**Как время изогнуто в этом зеркальном
мирке.
Как длятся минуты, как бешено мчатся
года.
Проверь-ка три первые цифры в своем
номерке:
конечно же, тройка, конечно, семерка
и да-**

**махая старательно левым и правым крылом,
вприпрыжку по скатерти и над
зеленым столом,
и тянет теплом, и торчащее в горле колом
«пить-пить» встрепенуло охотника
с черным стволом.**

**Ах, перепел жирный, с туманной твоей
головой,
ну, Господи, что ты такое на грошик
пропел,
взлетел на копейку, ну только едва над
травой,
но все же достаточно, чтобы попасть под
прицел.**

1974

**Знаешь ты, из чего состоит
отсырелый пейзаж Писсарро
так бери же скорее перо,
опиши нам, каков этот вид
штукатурки в потеках дождя,
в электричестве тусклом окно.
Расплывающееся пятно
на холстинном портрете вождя,
этот мокрый снежок, что сечет
слово СЛАВА о левом плече
и соседнее слово ПОЧЕТ
с завалившейся буквою Ч.
Эта морось еще не метель,
но стучится с утра до темна
в золотую фольгу, в канитель,
в сероватую вату окна.
Так бери же скорее перо,
сам не зная, куда ты пойдешь,
отступая от пасти метро
к мельтешению шин и подошв.**

**Ошалев от трамвайных звонков,
воробей поучает птенца:
«Десять лет до скончанья веков.
Ты родился в начале конца».**

БРАТЬЯ К.*

**Куличики, калачики,
крестики, нули.
Папашку раскулачили,
мы трое утекли.**

**Один в Москве был банщиком —
не знали чудака?
Другой стал барабанщиком
в оркестре ЦДКА.**

**Нежнейшая натура
был банщик, не нахал,
следил, чтоб не надуло,
все дверки прикрывал.**

**Глаза его тюленьи
глядят то в пол, то в таз,
и в женском отделеньи
он замещал не раз.**

**Он видел в клубах пара
не прелести, не срам —
жнивье, полоску пара,
над речкой старый храм.**

**Средь визга, лязга шаек
нашел себе резон —
он слышал крики чаек,
церковный перезвон.**

**Бурлит орава банная,
он, розовый, сидит...
А шкура барабанная
тем временем гудит.**

**Гудит тугая шкура
который год подряд.
Бунтарская натура
был барабанный брат.**

**Он буйная натура.
Он лупит, в раж войдя,
как будто это — шкура
Великого Вождя!**



* Автору известна полная фамилия братьев, но здесь, по понятным причинам, она приведена быть не может.

«СОЖЖЕНО И РАЗДВИНУТО»

*И все, чего нет на картине,
Ему пережить суждено.
В. Шефнер*

**Березка. Девицы прическа.
Рассвета/заката полоска.
Виток (т. е. ветер). Волна.
«Дороги». «Закат над заливом».
«Рассвет над проливом». Стыдливым
петитиком — сзади — цена.**

**Ах, что-то не тянет смеяться,
а тянет дежурством сменяться
в дурную эпоху, в тот свет,
где из-под стеклянного шара,
набив в портмоне гонорара,
выходит на Невский поэт.**

**Он грустен: «Обложка по Сеньке.
Халтура за медные деньги.
Заезжен размер, а строфа
разношена старой галошей.
Весь стих, как трамвай нехороший,
что тащится на острова.**

**Что делать — дурная эпоха,
все попросту пишут, да плохо,
что хуже и впрямь воровства.
Эх, грудь ты моя, подоплека,
всех помнишь, а вслух только Блока
и то с отрицаньем родства».**

**(Что делать — дурная эпоха.
В почете палач и пройдоха.
Хорошего — только война.
Что делать, такая эпоха
досталась, дурная эпоха.
Другая пока не видна.)**

**Автобус! машина «Победа»!
прошу, не давите поэта,
не смотрит он по сторонам.
В нем связь между нами и Блоком,
в ледащем, слегка кривобоком,
бредущем в плохой ресторан.**

**О муза! будь доброй к поэту,
пускай он гульнет по буфету,
пускай он нарежется в дым,
дай хрену ему к осетрине,
дай столик поближе к витрине,
чтоб желтым зажегся в графине
закат над его заливным.**

* * *

**Прошла суббота, даже не напился;
вот воскресенье, сыро, то да се;
в окошке дрозд к отростку прилепился;
то дождь, то свет; но я им не Басё.
Провал, провал. Играют вяло капли,
фальшивит дрозд, пережимает свет,
как будто бы в России на спектакле
в провинции, где даже пива нет.
Приплелся друг, потом пришли другие.
И про себя бормочешь: Боже мой,
так тянутся уроки ностальгии,
что даже и не хочется домой,
туда, где дождь надсадный и наждачный,
в ту даль, где до скончания веков
запачканный, продрогший поезд дачный
куда-то тащит спящих грибников.**

ОГОНЁК

НЕГРОМКАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

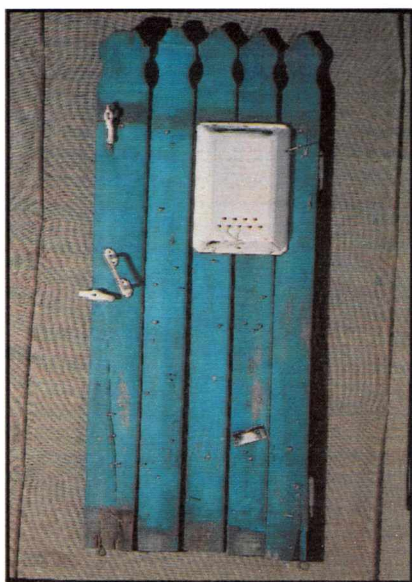


«С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний, поруганного и ниоткуда не защищенного существования? — и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили!». Эти слова Салтыкова-Щедрина авторы вынесли в эпиграф. Он начертан на скромном плакатике, предваряющем выставку, возле двери в первый зал (открываешь — и тихонько динькает колокольчик). Экспозиция начинается с детской. С самой настоящей, где настоящие пластмассовые пупсы и ширпотребовские погремушки, кубики с облупившейся краской и велосипедное колесо с отломанными спицами. А рядом — здесь же, но в другом уже мире — старомодный чайник с изогнутым носиком, и узкое окно с отваливающейся форточкой, в которое поминутно выглядывают с робостью и надеждой, и ящик «для писем и газет», к которому каждый день подходит неутомимый почтальон...

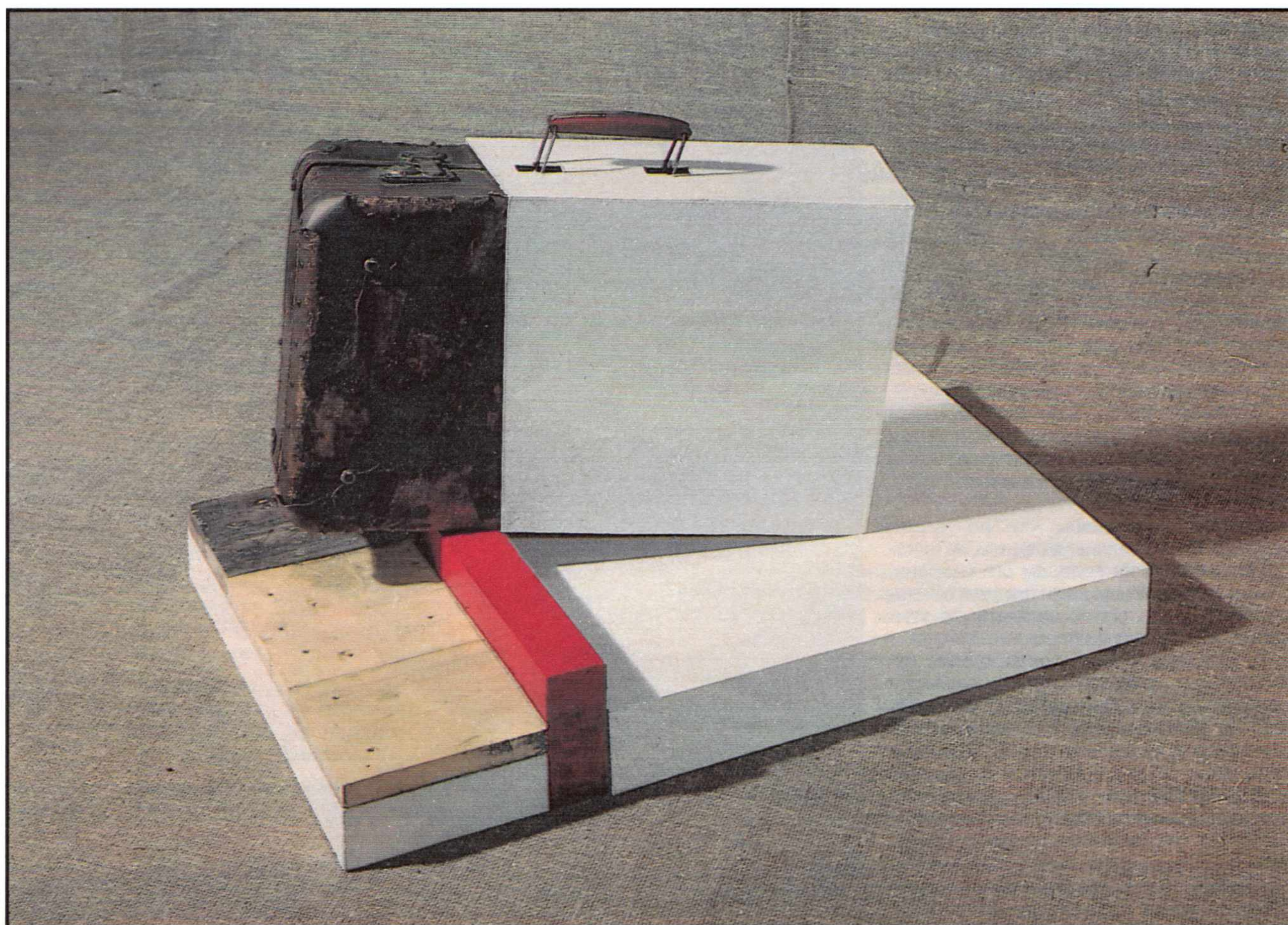
И вдруг понимаешь, что почтальон никогда не остановится здесь, и никогда не закипит на веселом огне чайник, спеша согреть того, кого так долго ждали. Потому что все «экспонаты» в этих небольших залах выброшенные.

— Найдены они на руинах одного заброшенного дома. Мы можем лишь догадываться о характере его обитателей, их образе жизни,— сказал мне организатор и художественный руководитель Марк Коник.— Но наш жизненный и художественный опыт, характер самих «вещей» дали нам возможность домыслить, вообразить и представить себе будни как этого, так и многих других домов. Вещь, вырванная из круговорота жизни, побывавшая затем в ру-

СТОЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ.



КАЛИТКА.



ПОРОГ.

ках художника, может рассказать многое как о ее бывшем хозяине, так и о художнике. Осознанный диалог художника с вещью может привести к разным результатам, здесь все зависит от воображения, от выбранного сценария, его интонации. Мы постарались увидеть и показать «историю одного заброшенного дома» по-своему.

...За детской следует кухня, где царствуют пузатые кофейники и кружевные салфетки, ухваты и миски, они лишь слегка «аранжированы» авторами, сгруппированы, где-то добавлен мазок краски, где-то подправлена ручка, создан «фон», оттеняющий форму и своеобразие вещи. То же — в комнате, условно названной «будни и праздники», и в мастерской. Догадывались ли вы, сколь выразительны могут быть обыкновенные венские стулья (вспоминайте, папы и мамы!), как будто затеявшие горячий спор за праздничным столом, к которому лишь слегка прикоснулась рука художника? И остается только удивляться тому, какими лаконичными средствами («демократический» фанерный чемодан на дощечке — «пороге») можно передать глубину и неоднозначность душевного состояния долго отсутствовавшего хозяина. А разве можно не восхититься силой духа и порывом мастера, конструирующего — совсем по-платоновски — в крошечной домашней мастерской махолет? И, создав одно крыло, выковавшего удивительный цветок из металла («золотая роза»?) для любимой?

Вся жизнь, от рождения до последнего приюта, проходит перед нами в маленьких пяти комнатах. Жизнь не одного поколения, таящая не одного поколения страхи и горести, одиночество и мечту. И вещи — будь то спинка от дивана или алюминиевая кружка — впитали тепло и слезы, потери и радости — всю долгую историю... Не выбрасываем ли и мы сами, расставаясь с ненужными вещами, часть собственной жизни, мечты и дерзания — как неведомый мастер, оставивший набор слесарных инструментов или семейную переписку и альбом фотографий, начатый в период первой мировой войны? Не мчимся ли мы — как платоновский Дванов — сквозь пустыню мироздания, лишенного взаимосвязей и взаимного тепла, влекомые призрачными устремлениями, лишаясь непознанных богатств и многомерности собственной души?

Динькает колокольчик, появляется новый посетитель...

Мы давно отвыкли быть просто людьми. Мы привыкаем постепенно и удивленно — открывая, что можно осознавать себя не борцами и страстотерпцами, не винтиками великого механизма и не героями — обыкновенными нормальными людьми с человеческими проявлениями и человеческим достоинством. Мой бог, как долго еще к этому идти! Как не скоро мы, должно быть, поймем, что в прошлом были не только революции и казни, пьянящий порыв энтузиазма и леденящий страх ночного звонка, что наряду со всем этим была просто жизнь. И что сама по себе эта обыкновенная жизнь есть величайшее чудо, превыше всех исторических катаклизмов и свершений прогресса. Или, быть может, это поймут наши дети.

Как написала Олеся Николаева:

Жизнь продолжается,
жизнь начинается снова,
То, что утрачено,
вновь обретается; слово
Вновь наполняется смыслом
и хочет звучать.
Все, что отвержено,
стало бесценным опять!

Экспозиция (она так и называется — «История одного заброшенного дома, или Негромкий разговор вещей») поместилась в маленьком деревянном особнячке на улице Танеевых, среди высоких фешенебельных зданий (кстати, одна из немногих построек, уцелевших с войны 1812 года). Здесь работает Всесоюзная экспериментальная творческая студия Союза художников СССР. Экспозиция и родилась во время одного из творческих семинаров студии, на Сенеже, куда приехали в начале 1990 года художники из многих городов страны. Неподалеку они и нашли тот заброшенный дом. Воссоздавали его историю Р. Абаев, Н. Артамонов, С. Баев, В. Букачаков, В. Выборнов, Е. Голубцов, А. Жарницкий, А. Завадский, Г. Зуев, В. Кайко, В. Киютин, А. Крюков, А. Комаров, В. Демента, А. Ли, В. Малафеев, Н. Минталеев, О. Морозов, В. Москалец, Е. Осередчук, Б. Прохоров, А. Родиков, В. Сизов, Г. Садожовский, Е. Синиченков, В. Соловьев, А. Тарыков, Р. Хринов, Ю. Харлов, А. Эдоков. Руководил семинаром М. Коник. Творческие семинары на Сенеже работают уже более двадцати лет. Их участники за это время сделали немало предложений по улучшению качества городской среды. Ни одно из них не реализовано.

А художники все равно собираются. Работают. И новая выставка — тому свидетельство. Приглядимся к ней. Поразмышляем неспешно о жизни ушедшей, о своей собственной, быстротекущей... Прислушаемся к негромкому разговору вещей.

Надежда АЖГИХИНА
Фото Игоря СУХОДАЕВА

КУХНЯ.





ОГОНЁК

Россия лишилась Вацлава Нижинского давно и давно с этой потерей примирилась. Он похоронен в Париже — городе, вознесшем его на вершину славы, который он в одном из своих интервью назвал городом артистов. Париж отпел Нижинского в русской церкви, хотя он был католиком по вероисповеданию. Для французов великий танцовщик остается прежде всего русским.

Собственно на художническую жизнь, то есть творчество несравненного танцовщика и хореографа, пришлось меньше десяти лет: три десятка последующих Нижинский прожил в медленном трагическом погружении в бездну бессловесного мученичества, скитаясь по клиникам для душевнобольных под надзором санитаров, не говорящих ни на одном знакомом ему языке. О его гениальном даре мы вынуждены судить лишь по десятку-двум сохранившихся фотографий, рисункам художников, имевших счастье видеть Нижинского на сцене, свидетельствам современников и воспоминаниям друзей. Именно писатели, художники, поэты на суде истории искусства остаются неподкупными свидетелями в деле рождения не «мифа Нижинского», как любили писать потом, а легенды, необычайной судьбы, которая, после того как пришел конец и дару, и самой горькой жизни, озаряет нас до сих пор.

Галина ПОГОЖЕВА

БОЖИЙ КЛОУН

Вацлав Нижинский родился в Киеве 28 февраля 1889 года.

Родители Вацлава, поляки из Варшавы, были артистами балета и странствовали с частной труппой по городам России. Их дети — Станислав, Вацлав и Бронислава — уже считали себя русскими. Годы спустя в своем дневнике Нижинский запишет: «Я русский человек, ибо я говорю по-русски. Я знаю, что русский тот, кто любит Россию. Я люблю Россию». Родители выступали в театрах, а случалось, и в цирке. Детей часто брали на спектакли, и им рано открылся волшебный мир искусства. Они и сами выступали на сцене, танцевали мазурку, гопак, матросский танец.

Счастливая жизнь внезапно кончилась, когда отец оставил семью, увлекшись молодой танцовщицей. Всю жизнь Вацлав не мог его простить.

Элеонора Нижинская поселилась с детьми в Петербурге. Старший, Станислав, уже перерос и не мог поступить в театральное училище (в дальнейшем его судьба сложится трагически: вскоре он сойдет с ума, его придется поместить в клинику для душевнобольных, где он и погибнет при пожаре во время революции). Вацлав, а затем Бронислава в училище были приняты. (Бронислава Нижинская прожила долгую жизнь, была прекрасной танцовщицей и затем известным хореографом.)

В училище Вацлав быстро выделился: лучше всех танцевал.

Его матери с тремя детьми приходилось нелегко. Нижинский вспоминал: «У нас не было хлеба. Мать не знала, что нам дать для нашей жизни. Мать пошла в цирк Чинизелли, чтобы заработать немного денег.

Мать стыдилась такой работы, ибо она была известная артистка в России. Я понимал все, будучи ребенком. Я плакал в душе. Моя мать тоже плакала».

В апреле 1907 года «Петербургская газета» поместила сообщение об экзаменационном спектакле, где, между прочим, говорилось, что «из мужского персонала выделяется г. Нижинский, виртуозный танцовщик и прекрасный кавалер, умело поддерживающий танцовщиц». Последнее качество особенно высоко ценилось в те времена, когда чаще солировала балерина, а партнеру оставались поддержки. Но все дело было в том, что Нижинский не просто «выделялся» на этих выпускных спектаклях, а танцевал так, что и спустя пятнадцать лет очевидец вспоминал: «Все, кто видел его в те незабвенные вечера, сразу почувствовали, что перед нами явление исключительное, что такого танцовщика балетная школа еще не видывала. Ни изящный Гердт в лучшие свои времена, ни братья Легаты, ни Кякшт, ни даже сам Фокин не давали и тени того, что показал нам этот талантливейший юноша, почти ребенок. Такую легкость, такие полеты — он летал по сцене, почти не касаясь пола,— даже представить себе нельзя тому, кто не видел его в натуре».

В сентябре того же года Нижинский дебютировал артистом императорских театров, на сцене Мариинского. Он сразу стал партнером Преображенской, Карсавиной и всемогущей Кшесинской, с которой выступал в главной роли в «Тщетной предосторожности». За одну только осень дебютант создал ряд ролей, которые принесли ему неслыханную доселе для мужчины-танцовщика популярность. Те, кто писал впоследствии за границей, что Дягилев «полностью сформировал его, вылепил и привел к славе», явно не знали, что слава Нижинского в России была столь велика, что уже в 1908 году публика преподнесла Нижинскому венок с надписью: «Первому артисту мира».

Бесспорно, встреча с Дягилевым стала главным событием в жизни Нижинского. Их познакомил князь Львов, с которым Нижинский сдружился незадолго до того. Нижинский согласился нехотя и не сразу: неравенство в этой дружбе, о которой ходили разные слухи, тяготило его. Читаем в записках Нижинского: «Львов меня познакомил по телефону с Дягилевым, который меня позвал в отель «Европейская гостиница», где он жил. Я ненавидел его за его голос слишком уверенный, но пошел искать счастья. Я нашел там счастье, ибо я его сейчас полюбил... Я ненавидел его, но притворялся, ибо знал, что моя мать и я умрем с голода. Я понял Дягилева с первой минуты, а поэтому притворился, что согласен на все его взгляды. Я понял, что жить надо, а поэтому мне было все равно, на какую идти жертву».

К Дягилеву, олицетворявшему собой судьбу, толкали Вацлава молодость, еще не знающая себе цены, и неосознанное стремление предельно реализовать свой творческий дар. Привычные слова «искусство требует жертв» становились плотью. Многие артисты императорских театров были приглашены в дягилевскую труппу, но никому из них не отводилось в ней такой исключительной роли, за что, понятно, полагалось платить жизнью и здоровьем. Нижинский пошел на это. Вдобавок Дягилев получил с князя Львова обещание «не отвлекать» Нижинского, то есть расстаться с ним, и некоторую сумму денег на первый Русский сезон в Париже.

Русские сезоны соединили в себе лучшие силы русского искусства, таких художников, как Фокин и Стравинский, Бенуа и Бакст, в том высоком единстве, которое называлось «строгой соборностью русской сцены». К ним ежегодно присоединялись новые блистательные таланты. Но вот уйдет Нижинский, и откроется без него очередной Русский сезон в Париже в мае 1914 года, и об этом событии Жак Ривьер напишет в письме к Марселю Прусту одну только строчку: «Был вчера в русском балете — жалкое зрелище...»

Газеты сначала сравнивали Нижинского с Вестрисом. Потом перестали — замелькало: «поэт», «бог танца». «Нижинский явился откровением. А в «Сильфидах» он показал, что первый танцовщик может быть не только партнером балерины. Он создал новый образ танцовщика, и после него уже не писали балетов для одних только женщин. Началась новая эра, и целый ряд балетов — «Видение розы», «Петрушка», «Нарцисс», «Голубой бог» — был создан для танцовщика»,— отмечала Бронислава Нижинская.

Летом 1910 года, после шумного успеха второго Русского сезона, в Венеции Нижинского настигла повестка: он призывался на военную службу. Будь он дома, дирекция театра все бы уладила. А пока Нижинский послал справку о болезни, получил отсрочку на год. Вернувшись домой в конце ноября, он был немедленно взят в оборот Кшесинской: в феврале у нее бенефис, и она желает, чтобы его дебют в этом сезоне пришелся на этот спектакль. Нижинский уклонился, найдя мелочный предлог, и тут же приступил к репетициям «Жизели» с Карсавиной: премьера «Жизели» намечалась на январь. Говорили в театре, что «балерина абсолюта» была вне себя от злости и грозилась вышвырнуть Нижинского из театра вон. Вацлава интриги не волновали: как всегда, стоя перед выбором, он исходил из интересов творчества. И, как всегда, за это приходилось платить дорогой ценой.

Каким был в «Жизели» Альберт Нижинского? «Узнаем ли мы когда-нибудь, какую часть самого себя вкладывает Нижинский в свои то трагические, то нежные роли? Истинный поэт, каковым является он, не может ни лгать, ни щадить себя: он отдает всего себя священному порыву вдохновения. Не будем же говорить о масках, когда речь идет о лице, которое само себя заново лепит всякий раз, на каждую страсть. Нижинский не актер, меняющий костюм, но человек, входящий в неведомые души»,— сказал о нем писатель и ценитель прекрасного, гонкуровский лауреат Франсис де Миомандр.

Об этом спектакле в прессе долго не смолкал шум, но писали не столько о незаурядном исполнении артиста, сколько о его костюме. На другой день после спектакля Нижинского вызвал Крупенский и объявил приказ министра двора барона Фредерикса об увольнении за самовольно надетый костюм, якобы не одобренный дирекцией. На самом же деле костюм этот, в котором Нижинский уже танцевал в Париже и который был его собственностью, прошел все проверки и был дирекцией принят, иначе Нижинский просто не был бы допущен на сцену. Не был он одобрен уже во время спектакля кем-то из великих князей. Барон Фредерикс, приказавший изгнать Нижинского, обычно не вмешивался в театральные дела, но у него была маленькая слабость: он терпеть не мог историй, связанных с великими князьями. У великих князей тоже была слабость: оба в разное время покровительствовали Матильде Кшесинской, чье участие в этой истории, разумеется, недоказуемо.

В руки Дягилеву сам собой дался изумительный шанс: он давно мечтал о создании постоянной труппы. Теперь Нижинский свободен! К нему присоединились подавшая в отставку обиженная за брата Бронислава, Больм, другие артисты — и вот Фокин, Стравинский и Бенуа приступили к работе. Новые шедевры Фокина — «Петрушку» и «Видение розы» — первым увидел Париж. Увидел Нижинского — душу цветка. «Он кружился, он обволакивал, он был рождением желанья, тревожа наивную спящую, а после улетал в окно, распахнутое в полночный сад. Нет, это был не смертный, покидающий приют мечтания, чтобы слиться с пространством, смешаться с серебристой негой летней ночи, это было благоуханное дуновение, это была сама тень розы, головокружения, грезы и сновидения...» Этим удивительной чистоты и духовности образом, созданным Нижинским и более всех других покорившим публику, обнажившим тесное родство балета с поэзией, мы обязаны поэту Жану-Луи Водуайе, так кстати вспомнившему стихотворение Теофиля Готье: «Я призрак розы, что ты вчера носила на балу...»

О «Петрушке» же один из его создателей, Александр Бенуа, считавший Нижинского в общем-то недалеким из-за его детской привычки молчать, когда разговаривают старшие, но признававший, что перед спектаклем с ним «происходит метаморфоза, и он начинает и думать, и чувствовать», сказал кратко: «Гениальнейший образ Нижинский создал в «Петрушке»... Как будто привезли в Париж Россию: снег, угар народного гулянья, безысходность, жалкие куклы в ящике раешника с портретом Хозяина на голой стене, но и ее великое вечное чудо — что все еще жива в бесправной кукле живая, страдающая, бессмертная душа...» А Дягилев годы спустя говорил: «Шедевром-то был он сам».

Подходил к концу 1911 год, истекала отсрочка военной службы. Это мучило Нижинского. В новой отсрочке Нижинскому вскоре было отказано, а зимой начались гастроли в Париже, Берлине... Нижинский приступил к репетициям балета «Послеполуденный отдых фавна».

На этот десятиминутный балет было потрачено более ста репетиций. Нижинский признался, что стихотворения Малларме, положенного в основу сценария, не читал, ему вкратце пересказали. Балет представлял собой новый текст, в котором мельчайший жест был словом, и слово это было словом хореографа. Танцовщицы, лишенные роли, роптали. Газеты предрекали сенсацию, невиданный модернистский балет в духе кубизма. Премьера прошла в Париже 29 мая 1912 года и вызвала целую гамму откликов. Вот как описывает созданное Нижинским поэт Минский:

«Раздвигается занавес. Жгучий осенний полдень, наполненный раздражающими испарениями вянущих листьев. Над обрывами свесились рдеющие платаны, над водами склонились бледные ивы. Молодой голый фавн, бледно-желтый, покрытый черными пятнами, какими бывают козлы, пасущиеся на лугах Греции, греется на солнце перед своей пещерой и играет на короткой флейте. Слева легкой поступью, не по-балетному, а вполне касаясь ступнями земли, выходят нимфы и застывают в созерцании зелени и вод. Являются еще три нимфы, и, наконец, выходит Она — старшая нимфа. Она собирается купаться. Расстегивает на себе покрывало за покрывалом. Нимфы движутся вокруг нее, заслоняя наготу своими щитообразно поднятыми руками. Фавн заметил ее. Страстный, робкий, он устремляется к цели. Движения угловаты. В позе — мольба. Сестры-нимфы в «паническом страхе» разбегаются. Остается Она наедине с фавном. Сцена страсти и абсолютного целомудрия. Фавн не молит ласк, а является барельефом мольбы. Нимфа не борется, а застыва-

ет в барельефе борьбы. На мгновение, правда, страсти побеждают, и юноша слегка касается рукою Женщины. Но являются ревнивые и насмешливые сестры, и молодая чета медленно расходится. Нимфа, подобрав одно из покрывал, нехотя спасается. Но юноша видит забытое другое покрывало. Он набожно поднимает его, как живое существо, на руки и медленно удаляется, преследуемый робкой насмешкой нимф. Там, на уединенной площадке, он расстилает дорогую, бездушную пелену и ложится на нее, погружается в сон или в сладостное видение».

Спектакль закончился, а зал молчал. Потом раздалось несколько хлопков и нерешительный свист. Аплодисменты усиливались — усиливались и выкрики протеста. Дягилев велел повторить спектакль. На этот раз пересилили аплодисменты. Роден громче всех кричал: «Браво!» На другой день читатели «Фигаро», развернув газету, обнаружили в ней вместо ожидаемого репортажа Робера Брюсселя заметку главного редактора Кальметта, состоявшую из громов и молний. «Мы увидели непристойного фавна с омерзительными движениями животной эротики, с жестами, полными гнетущего бесстыдства. Справедливыми свистками была встречена эта слишком выразительная пантомима животного тела, плохо сложенного, уродливого en face и еще более уродливого в профиль» — и т. д. Газета «Тан» пошла еще дальше, обвинив Нижинского уже не в эротике, а просто в порнографии. Незадачливый журналист, как и Нижинский, не удосужился прочитать стихотворения Малларме, в котором фавн не на покрывало ложится... впрочем, лучше не читать. Восторженная статья в «Матэн», написанная Роже Марксом и подписанная Роденом, была им ответом. «Ни одна роль Нижинского не была так поразительна, как его последнее создание — «Послеполуденный отдых фавна». Критик Луначарский, будущий нарком, точно подметил, что не мнимая непристойность так ополчила горожан Парижа, в недрах которого можно отыскать сколько угодно действительно непристойных зрелищ, а явная, плохо усваиваемая новизна. «Публика не любит опасных глубин,— говорил Жан Кокто.— Она предпочитает скользить по поверхности». И он же — о Нижинском: «Благодаря ему театр стряхивает пыль».

Столь противоречивые отклики способны были поколебать уверенность в себе даже очень самоуверенного человека. Раздались многоголосые сетования: лучше бы Нижинский просто танцевал. Зачем же он, несравненный танцовщик, сменил такой огромный, прочный и ставший уже уютным успех на одиночество и труд первопроходца? Зачем кружится ветр в овраге... В газетной брани и в неумеренных восторгах дружеской Дягилеву элиты сквозила одинаковая неуверенность. Все вдавались в описание подробностей, как бывает, когда не знают, что сказать. Нижинский повиновался чувству, а его пытались понять. Он выходил из понимания, как выходят из повиновения. Слишком рано пошел он по пути интуитивного, еще не отстоявшего в искусстве своих прав. Но как же современно смотрится сейчас восстановленный «Фавн», в котором тогдашний критик Валериан Светлов «не нашел ничего нового»!

Успех дался с трудом, но это был настоящий успех, и Дягилев сделал ставку на Нижинского-хореографа, при этом немилосердно выводя из игры Фокина. Однако когда через год увидели свет два новых балета Нижинского — «Игры» и «Весна священная», он пожалел, что поторопился. «Игры» были встречены так холодно, как никогда не встречали Русский балет. «Несколько хлопков и несколько свистков потонули в вежливом безразличии удивленного и сдержанно негодующего зала». Нижинский и сам не любил свой новый балет. Исполнителей — трех подростков, двух девочек и юношу в новомодных теннисных костюмах (короткие юбочки от Пакена, которые еще не начали носить), пришлось ему заставить играть в более взрослую игру. «Фавн» есть я, а «Игры» есть та жизнь, о которой Дягилев мечтал... Два мальчика есть две девушки, а Дягилев есть молодой юноша. Я эти личности нарочно замаскировал, ибо хотел, чтобы люди почувствовали отвращение. Я чувствовал отвращение, а поэтому не мог кончить этого балета. Дебюсси тоже не любил цели, но ему дали 10 000 франков за этот балет, а поэтому он должен был его кончить».

Премьера «Весны священной» затмила бурю, некогда разыгравшуюся на премьере «Эрнани» Виктора Гюго. «Это было, как будто в зале произошло землетрясение. Казалось, стены его сотрясались от гула. Несмолкающие выкрики, оскорбления, улюлюканье, свист заглушали музыку; слышались пощечины и тумаки. Об этом уж все рассказано: как артисты не слышали музыки и Нижинский, за кулисами, смертельно бледный, кричал, отсчитывая ритм, как Дягилев из своей ложи рассылал приказы»,— свидетельствует художница Валентина Гросс. Ей вторит насмешливый Кокто: «Стоя в своей ложе, в диадеме набекрень, престарелая графиня де Пурталес потрясала своим веером и, раскрасневшись, вопила: «Впервые за шестьдесят лет надо мной смеют так издеваться!» Отважная дама искренне верила в мистификацию».

Тем не менее искусствоведы подошли к явлению серьезно. Жак Ривьер в «Нувель ревю франсез» без обиняков назвал Нижинского революционером, а русский журнал «Маски» поместил обстоятельную статью Е. Панна с такими словами: «Постановку нового балета Стравинского можно рассматривать как самое крупное событие в молодой пока истории дягилевского предприятия: она ознаменовала собой решительное вступление на путь Ритма».

Но было уже ясно, что ни рядовая публика, ни меценаты, от чьей финансовой поддержки зависела труппа Дягилева, таких новаторских откровений не понимают и не принимают. Дягилев перестал говорить, что он сам придумал все балеты Нижинского. Не желая рисковать, он решил примириться с Фокиным, которого пришлось пять часов уговаривать по телефону. Фокин согласился, но потребовал себе все роли Нижинского в своих балетах. Нижинскому оставались «Жизель» и «Лебединое озеро». В Мариинском театре он имел бы больше. Но в Россию путь был заказан: там Нижинский, пропустивший сроки призыва, уже числился в дезертирах. Петля затягивалась.

Нижинский сам разрубил этот узел своим первым в жизни самостоятельным поступком: в отсутствие Дягилева, во время гастролей по Южной Америке, он неожиданно для всех и для самого себя женился на венгерке Ромоле Пульской. Эта девушка преследовала Нижинского уже больше года: прежде не учившаяся танцу, поступила в ученицы к благодушному Чеккетти, получила возможность путешествовать с труппой и — добилась всего. Свадьба свершилась 10 сентября 1913 года в Буэнос-Айресе. Дягилев, уведомленный о событии телеграммой, забыв, как прежде сам хотел отделаться от Нижинского, рыдал от горя. Новости отказывались верить даже мать и сестра, узнавшие о свадьбе из газет. Хотя, казалось бы, что удивительного в том, что двадцатичетырехлетний гений мог мечтать о счастье так же, как и все?

«Я женился случайно... Я должен сказать, что женился не думая. Я ее любил и любил. Я тратил деньги, которые скопил с большим трудом. Я ей дарил розы в 5 франков за каждую. Я ей приносил эти розы каждый день, по 20, по 30. Я любил ей дарить белые розы... Я ей давал все, что мог... Я просил ее учиться танцевать, ибо для меня танец был самым высоким в жизни после нее. Я хотел выучить ее хорошему танцу, но она испугалась и уже не верила мне... Я понял, что сделал ошибку, но ошибка была непоправима. Я себя заключил в руки человека, который меня не любит... Она меня любила мало. Она чувствовала деньги и мой успех. Она меня любила за мой успех и красоту тела. Она была ловка и пристрастила меня к деньгам».

В труппе не знали, что за все годы Нижинский ни разу не получал полностью причитавшегося ему гонорара. Эти деньги шли на покрытие расходов предприятия.

В Будапеште, куда молодые отправились после гастролей, Нижинского настигла телеграмма, гласящая, что Русский балет в его услугах больше не нуждается. Предлогом послужил недавний отказ от выступления, но всему виной была, конечно, «самовольная» женитьба. Нижинский решил организовать собственную труппу, хотя лучшие театры Европы предлагали ему контракты. Переговоры с парижской Оперой затянулись надолго. Тем временем Нижинский труппу собрал — к нему присоединилась порвавшая с Дягилевым Бронислава с мужем. Силы были невелики, и вся нагрузка легла на Нижинского. Гастроли в Лондоне продолжались всего две недели: «Я упал от работы и был в горячке. Я был при смерти». С Нижинским немедленно расторгли контракт, спектакли отменили. Выплатив артистам полностью гонорар, он распустил труппу и выехал в Вену, вызванный телеграммой Ромолы. Там родилась его дочь Кира, и там застигла его война. Российский подданный, Нижинский оказался пленником. Войну он проведет в негостеприимном доме родных своей жены, позже она расскажет об этом: «Моя мать была вне себя. Она дала мне понять, что ей неприятно иметь русских в своем доме... Прислуга, видя такое отношение моей матери, отказалась нас обслуживать. Кормили нас нерегулярно, и я видела, как Вацлав слабеет».

Из двухлетнего плена Нижинских выручил Дягилев. Правда, это стоило ему усилий. Правда и то, что директор «Метрополитен-опера» Отто Кан настаивал на участии Нижинского в гастролях. В Америке Нижинский поставил «Тиля Уленшпигеля» на музыку Штрауса. «Я поставил этот балет смешным, ибо я чувствовал войну. Война всем надоела, а поэтому надо было веселить».

Отношения с Дягилевым не склеивались: между ним и женой Нижинского была вражда — словно дети, они вырывали друг у друга Нижинского, как волшебную куклу. В труппе было несколько толстовцев, они зазывали к себе, обращали в свою веру, учили есть «неубойное». Несколько странных случайностей произошли одна за другой: то обрушивался софит на то место, где только что стоял Нижинский, то декорация, на которую он должен был прыгнуть, оказывалась не закреплена. Нижинский стал нервным, подозрительным, нанял телохранителей. 26 сентября 1917 года он в последний раз танцевал в спектаклях Русского балета.

Зимой следующего года швейцарский писатель Морис Сандоз встретил возле катка в горах Швейцарии странное существо. «На нем была шапка из выдры в форме кулича, спортивный костюм из темной, почти черной ткани, а на груди медное распятие величиной с ладонь. Я приблизился, чтобы рассмотреть его. Лицо его было бледным и чуть желтоватым, раскосые глаза делали похожим на монгола. В руках, сцепив их за спиной, он держал веревочку от санок, на которых сидела очаровательная маленькая девочка, которая тоже наблюдала за конькобежцами. Голосом мягким и певучим, с сильным иностранным акцентом, он спросил меня: «Вы не могли бы сказать мне, как зовут этого конькобежца?» «Это Вадас, он из Будапешта»,— ответил я. «Он катается с сердцем, это хорошо». «Я разделяю ваш выбор,— сказал я,— на этом катке есть лучшие виртуозы, но никто не обладает такой грацией, как он». «Грация от Бога,— ответил мой собеседник, играя своим распятием. (Поп-расстрига, подумал я.) — Все остальное дается учебой». «Но грация разве не дается учебой?» — спросил я, любопытствуя. «То, что дается учебой, имеет предел; врожденное развивается бесконечно».

В Швейцарию Нижинские приехали отдыхать и там осели. Война не кончалась. Нижинский был российский подданный, но в Россию нечего было и думать возвращаться. Чудом дошла както весть от матери и сестры: они были живы, переехали в Киев. Брат Станислав погиб. Ограниченный в передвижении, не имея возможности танцевать, Нижинский пытается занять себя чем угодно, лишь бы творчеством,— он рисует, клеит макеты декораций, создает систему нотации, свой собственный балетный алфавит, чтобы записывать движения балета, который оставался бы неизменным во времени. В свое время он не поверил в кино, и даже встреча с Чарли Чаплином (который, кстати, потом вспоминал: «В жизни я встречал мало гениев; одним из них был Нижинский») его к кино не расположила: оно было еще несовершенно, движение передавало прерывисто, телеграфно, а главное — было младенцем в руках дельцов, по его мнению. И Дягилев не мог уговорить его сняться в кино. Жаль, потому что даже оставшиеся от него фотографии, запечатлевшие выразительную пластику Нижинского, не передают его «душой исполненный полет».

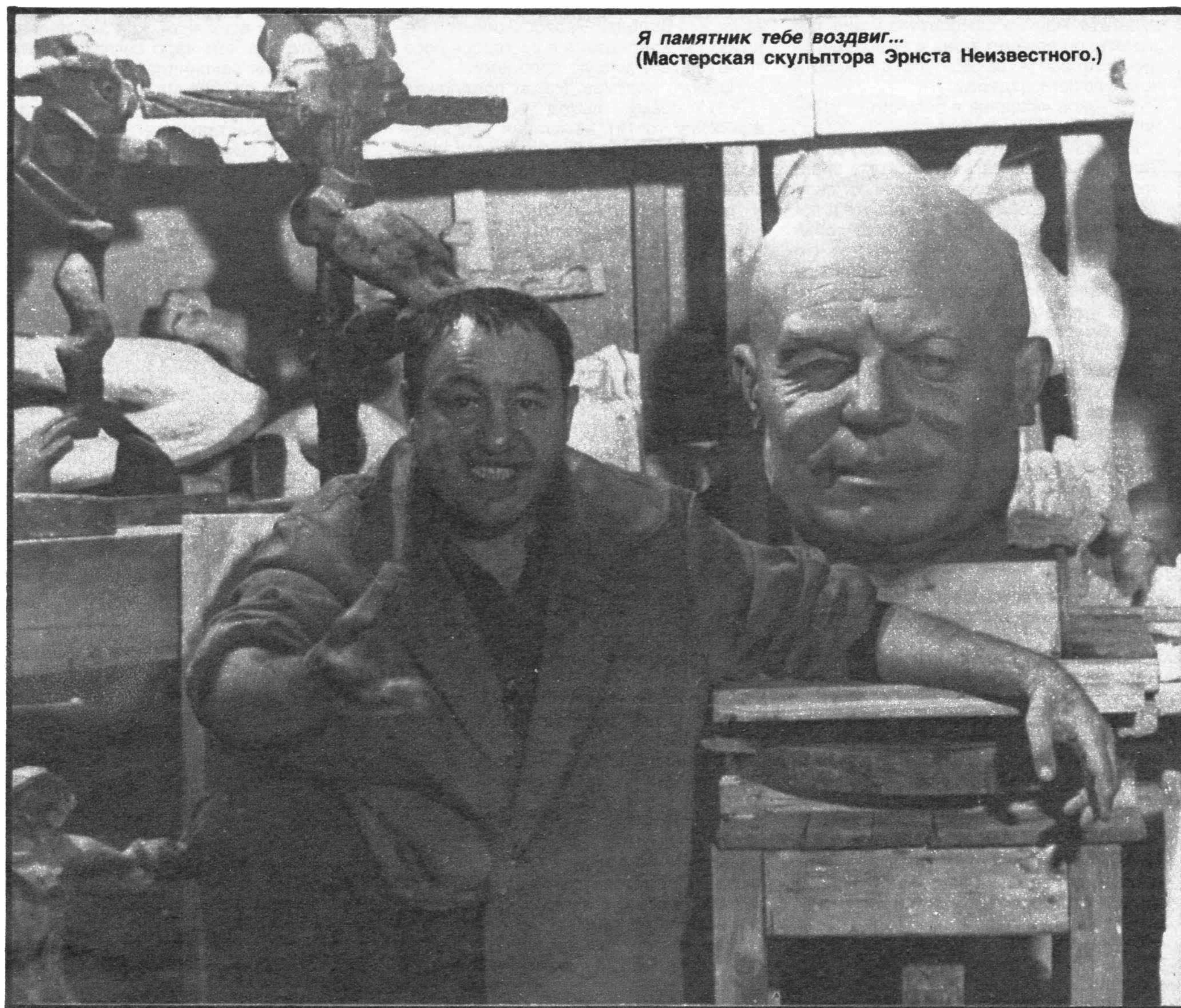
Все страннее становились рисунки Нижинского, все дольше одинокие прогулки по заснеженным горам возле городка Сен-Мориц. И все чаще посещал его дом — как бы между прочим, по-дружески — живший неподалеку доктор. Зимой 1919 года Нижинский пишет свой дневник — последнюю дошедшую от него к нам весть, исповедь, завещание: страницы бреда, страницы гениальных откровений... В дневнике он выскажет — раньше всех докторов — свое роковое пророчество: «Я болен душою. Я неизлечим». Он подписывает свой дневник: Бог Нижинский.

В начале 1919 года Нижинский, по настоянию родственников жены, был помещен в клинику для душевнобольных — почти что в небытие. Его объявляют неизлечимым. Дягилев до конца своей жизни все надеялся на выздоровление бывшего друга, которого продолжал считать не только гениальным танцором, но и гениальным хореографом. Он привозил Нижинского на спектакли Русского балета в надежде на пробуждение его сознания. Все было напрасно.

Вацлав Нижинский умер 8 апреля 1950 года в Англии. Спустя три года его прах был перевезен в Париж, и теперь он покоится на кладбище Монмартр.

К юбилею в Париже был создан Комитет Нижинского, который подготовил и провел в сентябре 1989 года коллоквиум, посвященный столетию артиста, собравший представителей многих стран. Невозможно перечислить всего, что делается в связи с этой датой. В Неаполе Нижинскому был посвящен балет с участием Владимира Васильева, в Лозанне и Женеве показан балет Мириам Нэйси «Ваца», Национальный балет Финляндии подготовил спектакль «Нижинский, Божий клоун»... Не вместившись в 1989 год, этот всемирный праздник искусства, день памяти великого русского артиста, продолжается и в нынешнем году. Наконец и у нас в марте состоялись посвященные Нижинскому гала-концерты в Большом и Кировском театрах с участием прославленной труппы Мориса Бежара «Балет XX века». Немного.

Увы, Россия с потерей примирилась.



Я памятник тебе воздвиг...
(Мастерская скульптора Эрнста Неизвестного.)

ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сергей ХРУЩЕВ
Фото Петра КРИМЕРМАНА

Взялись за детей, начав с семьи Аджубеев.

Алексея Ивановича, который теперь работал заведующим отделом в журнале «Советский Союз», вызвали куда-то и предложили покинуть Москву, перейдя на работу в одно дальневосточное издательство.

Алексей Иванович испугался и ударил во все колокола: он заявил, что никуда не поедет и немедленно напишет жалобу Генеральному секретарю ООН. Угроза неожиданно возымела действие. К нему больше не приставали.

Видимо, с ним побеседовали и по другим вопросам. Во всяком случае, с тех пор с отцом он стал общаться еще меньше. Несколько раз заводил разговор о мемуарах, причем мнение его диаметрально поменялось. Теперь он считал работу над воспоминаниями бесполезным и ненужным занятием, заявляя, что дела отца говорят сами за себя и никаких дополнительных разъяснений не требуется.

Отец отмалчивался или отделывался ничего не значившими, нейтральными ответами.

Обращался Аджубей и ко мне с предложениями уговорить отца больше мемуарами не заниматься. Я не согласился, ответил, что мемуары важны и для истории, и для самого отца.

Продолжение. Начало в № 22.

Не миновали «репрессии» и меня. Об этом расскажу подробнее.

Я уже упоминал, что работал в организации, занимавшейся ракетной техникой. Работа мне нравилась, нравился мне и мой шеф — академик Челомей.

В тот период я вел раздел систем управления в нескольких проектах. Дел было много, но я выкраивал любую свободную минуту для работы над мемуарами отца. Папку с очередной порцией листов, нуждающихся в правке, я постоянно таскал с собой.

Вскоре после беседы Кириленко с отцом у меня в кабинете раздался звонок, и незнакомый голос сообщил:

— Сергей Никитич, с вами говорят из управления кадров Министерства приборостроения. Нам сообщили, что вы переходите на работу в Институт электронных управляющих машин нашего ведомства. Зайдите к нам, мы уладим все формальности.

Я ничего не понял.

— Вы, видимо, ошиблись, я никуда переходить не собираюсь,— ответил я.

— Не знаю, не знаю. У меня лежат переводные документы на вас,— продолжал мой собеседник.— Впрочем, это ваше дело. На всякий случай запишите мой телефон.— И он продиктовал номер.

Я не знал, что и подумать. Ситуация была неприятная.

Челомей сильно переменился ко мне за последние годы: с одной стороны, старался сохранить дружеские отношения, с другой — хотел, чтобы этого никто не замечал, чтобы в ОКБ посторонние меня видели поменьше.

Он даже как-то сказал мне в припадке откровенности:

— Ты им не попадайся на глаза. Сиди в КБ, а в смежные организации не езди.

Первым, кого я встретил после странного телефонного разговора, был заместитель Челомея по кадрам Журавлев. Я тут же рассказал ему все.

— А я только собирался высказать тебе все, что думаю о твоем предательстве,— вдруг сказал Евгений Лукич.— У меня лежит запрос на твой перевод. Я думал, ты все это обтяпал за нашей спиной. Доложил Владимиру Николаевичу, и он приказал поговорить с тобой.

Это уже была явная ложь. Впоследствии я узнал, что за некоторое время до описываемых событий к Челомею по мою душу приходили представители органов, предположивших, что в силу известных обстоятельств я обижен, и хорошо бы меня перевести на работу, не связанную с секретной тематикой.

Если бы Челомей ответил, что это чепуха и я необходим в КБ, разговор этот остался бы без последствий. Во всяком случае, так мне позже объяснили осведомленные люди.

Но Челомей поступил иначе. Появилась возможность избавиться от меня, ведь при его разговорах с Брежневым и Устиновым мое имя всегда могло всплыть (они прекрасно знали и меня, и где я работаю) и вызвать неудовольствие.

Ничего этого я тогда не знал и сказал Журавлеву, что никуда не собираюсь и даже мыслей таких не имею. Тут же я поднялся на шестой этаж к Челомею.

Владимир Николаевич внимательно выслушал меня и не стал утверждать, что он ничего не знает.

— Это все Устинов. Он тебя не любит,— сел он на своего любимого конька. Устинова он ненавидел, и тот платил ему той же монетой,— это его дела. Мне уже о тебе звонил Сербин*, спрашивал, когда ты уходишь. Ты не представляешь, насколько он низкий человек, способен на любую гадость.

Я не понял, кого он имел в виду — Устинова или Сербина, но я хорошо знал эту привычку Владимира Николаевича в подобных выражениях характеризовать многих, с кем ему приходилось общаться, и не придал его словам серьезного значения.

Я был растерян и ждал от него помощи.

— Что же мне делать? Я совсем не хочу никуда переходить.

— Знаешь,— в раздумье протянул Челомей,— напиши письмо Леониду Ильичу. Кроме него, никто ничего не сделает. А он тебя знает и всегда тепло к тебе относился.

Совет был безукоризнен: Челомей оказывался «вне игры». Если Брежнев вдруг соблаговолит оставить меня в ОКБ, мое будущее санкционировано свыше и можно не беспокоиться о себе. Ну, а на нет и суда нет. Владимир Николаевич сослался на срочный вызов к министру и ушел. Я остался со своими раздумьями. Писать Брежневу, особенно после стычки отца с Кириленко, мне очень не хотелось — и бесполезно, и противно.

Решил не предпринимать никаких действий по своей инициативе: авось забудется.

Прошло две недели, и мне позвонил Журавлев:

— Ну, так что? Что будешь делать? Мне тут звонили...

— Я, собственно, ничего не делал...

— Зря. Тебе предоставили время на принятие решения. Сейчас пора действовать. Надо тебе съездить в ту организацию.

Я решил предпринять последнюю попытку:

— Лукич, а что ты будешь делать, если я откажусь и никуда не пойду? Ведь по закону меня не за что увольнять.

— Напрасно теряешь время. Мы с тобой старые друзья, но я должен выполнять приказы руководства. А законов много. Например, можно сократить твое КБ за ненадобностью или в связи с реорганизацией. Вот ты и окажешься не у дел. Мой совет: или прими предложение, или прими меры. Время работает против тебя.

— Спасибо за совет. А ты не можешь связать меня с тем, кто дает тебе указания?

— На этот вопрос я сам тебе не отвечу. Я перезвоню.

Через полчаса Журавлев сообщил мне номер телефона, назвал фамилию. Из первых цифр было видно, что это номер КГБ, а не нашего министерства. Наш разговор с невидимым собеседником был коротким, ничего нового он мне сообщить не мог.

Я только спросил, что делать, если предложенная организация мне не подойдет. Могу я устроиться куда-нибудь еще?

Я наивно полагал, что смогу перейти на фирму к кому-нибудь из знакомых главных конструкторов по профилю своей работы — Пилюгину, Кузнецову.

Мне было сказано, что других вариантов не существует. Если предложение не подойдет, они помочь не смогут. Я положил трубку. Оставалось или подчиниться, или обращаться на самый верх.

* И. Д. Сербин — в те годы заведующий Оборонным отделом ЦК КПСС.

В тот же день меня вызвал Челомей.

— Ты связался с Леонидом Ильичом?

— Нет еще. Пытался разобраться, не прибегая к его помощи. Очень уж не хочется ему писать.

— Напрасно. Кроме него, тут никто ничего не сделает. Мне уже дважды звонил Сербин. Я выкручиваюсь как могу, но чувствую, что скоро его терпению придет конец.

Выхода не было, и я вечером написал короткое обращение на имя Генерального секретаря с изложением фактов и просьбой оставить меня на старом месте работы, где я как специалист могу принести наибольшую пользу.

Разузнав телефон, я позвонил помощнику Брежнева Александрову-Агентову. Я не очень разбирался в иерархии его помощников и не знал, что он занимается международными делами.

Александров сам взял трубку и, выслушав меня, предложил зайти в удобное для меня время. Сговорились встретиться следующим утром.

Принят я был чрезвычайно любезно. Александров сказал, что он в ближайшее время доложит «самому» и надеется, что все образуется.

— Вы позвоните через пару дней,— обнадеживающе закончил он наш разговор.

Я несколько успокоился. Такой оперативности я не ожидал. Очевидно, думал я, поскольку Брежнев раньше много занимался нашими делами, он хорошо знает и наше КБ, и меня. Наверное, все «образуется»...

Я «услужливо» забыл разговор у Кириленко и то, что после 1964 года Брежнев стал совсем не тем.

Через два дня Александров, помявшись, сказал мне по телефону, что он доложил мою записку, но Леонид Ильич заниматься существом дела не стал, а сказал: «Это дело Устинова. Пусть он решает».

— Вы позвоните Дмитрию Федоровичу, вот телефон его помощника,— закончил разговор Александров.

Устинову я звонить не стал. Такой ответ Брежнева означал однозначный и пренебрежительный отказ. О том, что с Устиновым наша организация, а следовательно, и я были не в лучших отношениях, Брежнев прекрасно знал.

Рассказав все Челомею и выслушав, как я понимаю теперь, его не совсем искренние соболезнования, я набрал продиктованный мне номер телефона директора организации, где мне отныне предстояло работать, Бориса Николаевича Наумова.

Секретарь соединил меня мгновенно. В ответ на мои сбивчивые объяснения он дружелюбно сказал, что ему все известно и он обо мне наслышан, а потому выразил уверенность, что я найду себе дело по душе. Предложил приехать.

Через два часа я подъезжал к своей будущей обители. Через проходную прошел в небольшой двор, в котором одиноко стояло пятиэтажное школьное здание. После гигантской территории нашего ОКБ и его многочисленных многоэтажных корпусов организация выглядела затрапезно.

Пройдя через раздевалку, я поднялся на второй этаж. Полная белокурая секретарша приветливо улыбнулась:

— Сергей Никитич? Борис Николаевич ждет вас. Проходите.

В кабинете меня встретил большой, весь как бы состоявший из улыбки человек. Он излучал благодушие.

Я стал рассказывать, стараясь быть покороче.

— Подождите,— перебил он меня,— если можно, поподробнее. Я много слышал о вашей деятельности. Любочка, чайку и ни с кем не соединяйте. Ни с кем,— скомандовал он секретарю в переговорное устройство.

За чаем мы проговорили часа два. Я рассказал о себе, о Челомее, кое-что о работе. Что можно. Наумов был весь внимание и любезность. Задавал вопросы, уточнял — видно было, что все это ему чрезвычайно интересно. В результате Наумов посоветовал мне подумать: он возьмет меня в подразделение, которое я выберу, на должность заведующего отделом.

— Такое указание я получил,— уточнил он.

Решили встретиться через пару дней. Так я начал работать в Институте электронных управляющих машин. В силу склада характера и обстоятельств я постепенно снова оказался в гуще событий. Отрадным для меня было то, что через год из ОКБ ко мне перебрались несколько моих коллег, с помощью которых удалось создать боевой коллектив. Вместе мы работаем и по сей день...

Все эти бурные события отвлекли меня от помощи отцу в работе над мемуарами, но лето 1968 года оказалось непродуктивным и у него.

Пришла осень, и отец опять приступил к диктовке. Дело шло туго, он выбивался из ритма, забыл планы.

Опять мы вернулись к плану, составленному вначале. Выбирали тему на неделю и в следующий выходной подводили итог.

Сначала отец сердился, отвечая на мои вопросы своим обычным: «Не приставай!»

Но постепенно он снова увлекся, работа оживилась, и надобность в моих приставаниях отпала.

1969 год наступил мирно. «Наверху» о нас не вспоминали. Отпор, встреченный Кириленко, возымел свое действие, и с отцом, видимо, решили не связываться. Все шло по установившемуся расписанию — работа над мемуарами, огород, прогулки, фотографирование, опять мемуары, телевизор, чтение. И так изо дня в день. Наступившей весной отец работал так же интенсивно, как и в позапрошлом году, когда мемуары только начинались.

Мы несколько успокоились, но, как оказалось, напрасно. Мемуары отца не выпадали из-под бдительного наблюдения. Все это в полной мере проявилось на следующий год.

В 1969 году произошло событие, внешне, казалось, никак не связанное с темой этого повествования, но в силу ряда обстоятельств вдруг вмешавшееся в работу над мемуарами и оказавшее серьезное влияние на нашу дальнейшую деятельность.

Моя младшая сестра Лена с детства тяжело хворала. Еще ребенком, вернувшись с юга, она заболела системной волчанкой — тяжелым, непонятным современной медицине и неизлечимым недугом.

Чего только не предпринимали мама и отец!..

Обращения и к светилам науки, и к народной медицине не дали результатов, болезнь прогрессировала.

Во второй половине шестидесятых годов состояние ее серьезно ухудшилось. Лена уже не могла работать, с трудом ходила. Однако мужество и оптимизм позволяли ей на даче возиться с пчелами, цветами.

Летом после очередного обострения Лену забрали в больницу. Болезнь вступила в новую грозную стадию — ей свело руки, она не могла ходить. Положение было очень тяжелым. Все московские светила: и академик Тареев, и профессор Смоленский, и профессор Насонова — давно наблюдали, лечили сестру, но улучшения не было. Они оказались бессильны.

Лева Петров, муж моей племянницы, проработавший несколько лет журналистом в Канаде и уверовавший в западную медицину, предложил проделать анализы за границей — вдруг там существуют диагностика и лечение, о которых мы не подозреваем.

Лечащие врачи отнеслись к этой идее скептически, но не возражали. Они знали, что положение безнадежно, а в такой ситуации принято давать родным полную свободу.

Встал вопрос, как реализовать идею практически. Тут представился случай.

Повстречавшись в те дни со своими друзьями Володей Барабошкиным и Ревазом Гамкрелидзе, я в разговоре посетовал на возникшую проблему.

Немного подумав, Реваз предложил:

— По-моему, выход есть. Сейчас в Москве гостит делегация американских математиков. Я поговорю с ними, может быть, кто-то из них возьмет на себя труд произвести анализ в одном из госпиталей в Америке.

И хотя мне не хотелось связываться с иностранцами — я бы предпочел, чтобы эту миссию взял на себя кто-нибудь из своих,— но выбирать не приходилось.

Через несколько дней Гамкрелидзе принимал американских гостей у себя дома. Был приглашен и я.

Так я познакомился с доктором Стоуном.

— Этот человек может тебе помочь,— сказал Реваз.

Мы разговорились. Стоун, оказывается, был близок к покойному президенту Кеннеди, тепло отзывался об отце.

Реваз уже рассказал ему о моих проблемах, и тот был готов не только взять на себя хлопоты с анализами, но вызвался разыскать и, более того, попробовать прислать в Москву врача, специалиста по коллагенозам. Так по-научному называлось заболевание моей сестры.

Перед отъездом доктор Стоун забрал препараты для анализа и обещал вскоре позвонить.

Через пару недель он сообщил, что один из крупных американских специалистов в этой области (я забыл его фамилию) сейчас находится в Европе. Стоун договорился с ним, что в случае предоставления ему туристской визы он заедет в Москву. Вопрос надо было решать быстро, в течение одного-двух дней. Поездка американского медика по Европе подходила к концу. Из Вены он должен был направиться домой.

Честно говоря, до этого звонка я не принимал всерьез разговора о приезде иностранного врача. Это не укладывалось в привычное восприятие советского гражданина, да и сообщение обрушилось на меня как снег на голову. Первым позывом было поблагодарить и отказаться, но я вспомнил, что это, может быть, последний шанс, и поблагодарил...

Но как я мог организовать в своем положении визу вообще? Не то что за пару дней. Правильное решение пришло неожиданно: надо действовать через верха. Единственный человек, который может помочь,— Андрей Андреевич Громыко. Я не сомневался в его порядочности, но не сбрасывал со счетов и его крайнюю осторожность.

Мы жили в одном доме. Тоже немаловажное обстоятельство, облегчающее возможность встречи.

Набравшись смелости, я вечером позвонил ему домой и попросил разрешения зайти по очень важному делу.

Конечно, мой звонок удивил его, и вряд ли просьба о встрече его обрадовала, но внешне это никак не проявилось. Он спокойно и благожелательно, как будто мы переговаривались за эти годы не раз, предложил зайти прямо сейчас. Я спустился на этаж, где он жил. Громыко принял меня в холле своей большой квартиры. С ним была его жена — Лидия Дмитриевна.

Я коротко изложил суть дела. Андрей Андреевич хорошо знал нашу семью, был осведомлен о болезни сестры.

Мою просьбу он воспринял положительно и проговорил своим густым, напирающим на «о» голосом:

— Ну, что же, это дело гуманное. Я постараюсь помочь. Позвони мне завтра.

Лидия Дмитриевна, постоянно оберегающая его от возможных неприятностей, вставила:

— Андрюша, сам ты этого вопроса решить не сможешь. Это надо согласовать.

Андрей Андреевич не отступился и повторил:

— Позвони мне завтра.

Он лучше всех знал, как это делается и что и с кем надо согласовывать.

Аудиенция закончилась.

Назавтра я позвонил ему в МИД. Я не ошибся в Громыко, в его лучших человеческих качествах: еще до моего звонка вопрос был решен положительно, и телеграмма о выдаче визы американскому профессору ушла в Вену.

Однако дело сорвалось. Врач, видимо, испугался поездки в незнакомую Москву. Как бы там ни было, от визы он отказался и отбыл из Вены домой.

Обо всем доложили Громыко, и, когда я дозвонился к нему со словами благодарности, он сказал, что готов помогать, если понадобится, в этом деле и в будущем.

Как мне рассказали впоследствии, Громыко по собственной инициативе дал телеграмму послу в США Добрынину с просьбой оказать содействие, если к нему обратятся по поводу визы для американского врача. Он сделал много больше того, о чем я его просил.

Я позвонил Стоуну в США и рассказал о случившемся. Он не унывал. Заверил, что найдет новое решение.

— Я был в вашем посольстве, они обещали отнестись благоприятно. Это главное,— закончил он.

О телеграмме Громыко мы тогда не знали.

Через несколько дней опять позвонил Стоун: нужный врач нашелся. У него большой опыт и знания. Долгое время он был личным врачом Джавахарлала Неру. К тому же он крупнейший в мире клиницист в области коллагенозов. Он готов поехать в Советский Союз. Приедет с женой. У него умерла теща, жена очень переживает, и они будут рады сменить обстановку.

— Вопрос с визой улажен. В вашем посольстве мне сказали, что выдадут ее без задержки. В качестве гонорара тебе придется оплатить проезд и его пребывание в Москве, а также обеспечить культурную программу,— закончил Стоун.

Я с радостью согласился. Вопрос был решен.

Формальности быстро уладились, и в конце октября я встречал в Шереметьеве невысокого худенького доктора Харвея и его супругу.

В Москве было морозно, лежал снег. Разместились они в гостинице «Националь».

Неожиданно возникли осложнения с консилиумом: Тареев и Смоленский уклонялись от встречи с американцем, с большим трудом их удалось уговорить.

После внимательного осмотра и оценки всех имеющихся результатов — наших и американских — профессор Харвей пришел к тому же заключению, что и советские врачи.

С того момента отношения между ними заметно улучшились.

Американский специалист даже несколько приободрил нас, он считал, что положение не такое уж тяжелое, как можно было ожидать. Болезнь еще можно сдержать, больше того, прожить до глубокой старости. К сожалению, она неизлечима, ее не умеют лечить ни в Америке, ни в Европе.

Лена не дожила до глубокой старости. Она умерла через четыре года. Ошибался профессор или успокаивал нас, следуя медицинской этике, сейчас уже не узнаешь.

После первого консилиума были назначены дополнительные анализы, а после получения их результатов — новая встреча.

Харвей попросил дополнительно прислать образцы крови сестры в его лабораторию в США — там есть возможность воспользоваться современнейшими приборами,— и тогда, возможно, будут получены новые результаты. Однако по выражению его лица было видно, что ничего нового он не ждет. Для него все было ясно.

Не скрою, я был несколько разочарован и обескуражен,— столько хлопот,

фантастических усилий, а чуда не произошло. Профессор лишь подтвердил то, что мы слышали раньше.

Культурная программа сложилась удачно. Гости посетили театры, музеи, Дворец съездов, Оружейную палату, на пару дней съездили в Ленинград. С помощью Барабошкина через канцелярию Патриарха мне удалось им организовать экскурсию в Загорск с показом сокровищ и парадным ужином.

Приставленная к ним «Интуристом» переводчица никак не могла понять, кто мы такие. Я и муж Лены Витя старались не оставлять гостей одних. Особое ее недоумение вызывало, когда мы время от времени увозили их куда-то. А ездили мы на консилиумы, видимо, эти поездки казались ей подозрительными.

Пребывание Харвеев в Москве подходило к концу.

Отец, отдавая дань вежливости, пригласил их в гости на дачу. Посоветовавшись с Витей — отца мы об этом не спрашивали,— решили на дачу переводчицу не брать. Никаких особых соображений не было, просто не хотелось тащить в дом постороннего человека. В свете дальнейших событий это решение теперь мне кажется ошибкой, хотя, вероятно, оно не слишком повлияло на общий ход событий.

В тот день утром, придя в гостиницу, мы сказали переводчице, что забираем гостей на весь день и она свободна. Она обиделась, но мы не придали этому значения. В соответствии с программой сначала поехали в Архангельское, осмотрели дворец. Пообедали в местном ресторане. Только тут мы сообщили Харвеям, что неподалеку расположена дача Хрущева и он хотел бы повидаться с ними, если они не возражают. Предложение было с благодарностью принято.

По случаю приезда гостей отец переоделся в пиджак. Таким мы его давно не видели, обычно он ходил в домашней куртке.

Встретил он гостей радушно. Видно было, что Харвей произвел на него благоприятное впечатление и ему было приятно принимать его в своем доме.

Мама пригласила всех к столу — к приезду гостей приготовились. Мы этого не учли, так что пришлось обедать во второй раз.

За столом речь шла не только о медицинских делах. Отец сначала поблагодарил Харвея за согласие приехать в Москву для консультации. Затем традиционно речь зашла о русской зиме. На дворе лежал глубокий снег. Как и следовало ожидать, дальше беседа перекатилась на советско-американские отношения. Отец вспомнил о своих визитах в США. С теплотой отозвался о стране и ее народе. Рассказал о встречах с президентом Эйзенхауэром.

Беседа была непринужденной.

По торжественному случаю отец позволил себе даже выпить с гостями рюмочку коньяка за дружбу между нашими народами.

У отца были две любимые рюмки — одна высокая, узенькая, граммов на 25, я ее помню еще по Киеву, а другая большая, солидная. Ею он любил похвастаться, так же как и немецким чайным стаканом с ручкой. Внутри она была заполнена стеклом, и для жидкости оставалось несколько миллиметров наверху. Издали рюмка выглядела налитой до краев. Эту рюмку ему подарила в один из приездов в гости к нам на дачу жена американского посла Джейн Томсон, сказавшая, что отцу часто приходится бывать на приемах. Эта рюмка очень удобна, когда нужно поднимать бокалы.

Отец часто пересказывал эту историю, демонстрировал рюмку. Не обошлось без этого и на сей раз.

После обеда вышли на крыльцо, уже темнело. Харвей хотел воспользоваться последним светом уходящего дня и сделать снимки на память. Фотографировались мы и за столом.

Естественно, что в разговорах ни словом не упоминались мемуары. Харвей о них просто не знал, а отцу такое не могло прийти в голову. Уже затемно мы вернулись в гостиницу. Гости были чрезвычайно довольны приемом у бывшего премьера, просили передать самые сердечные благодарности.

Мы и не подозревали, какие тучи сгущаются над нашей головой.

Пребывание в Советском Союзе Харвеям пришлось по душе. Мадам пришла в себя, повеселела. Приближался праздник 7 ноября. С первых дней я уговаривал их задержаться на пару дней, посмотреть праздник, и они в конце концов не выдержали, поддались на мои уговоры и решили перенести отлет с 6 на 8 ноября. Аэрофлот без хлопот переоформил билет.

О том, что гости уезжают 6-го, знали все. Перенос же отъезда прошел незамеченным. Да и кого это могло интересовать — днем раньше, днем позже. На деле же оказалось, что этим двум дням была уготована особая роль.

Билеты на Красную площадь для Харвеев достать не удалось, но я их успокоил — окна «Националя» выходят на улицу Горького, и мы почти все зрелище увидим, не выходя из номера. Я собирался принести портативный телевизор, и по нему мы могли следить за событиями на Красной площади. В те времена не все гостиничные номера имели телевизоры.

В гостиницу 7 ноября нужно было попасть рано, до 7 часов утра, потом без пропусков было не пробиться. У меня с собой набралось много вещей: кроме телевизора, еще два самовара — наши сувениры Харвеям и Стоуну. По случаю праздника все сидели по домам, занят был и Витя. Мне вызвался помочь приятель.

В последний момент я захватил с собой и какую-то книгу, чтобы на случай, если гости спят, почитать в холле.

Харвеи нас уже ждали. Мы выпили кофе и стали рассматривать самовары, но в этот момент пришла дежурная и предупредила, что во время парада в номере находиться нельзя. Надо покинуть гостиницу и выйти на улицу. Объясняться она не стала, но мы особо не расстраивались — настроение было праздничное. Все отправились смотреть парад к крыльцу гостиницы. Простояли мы на морозе долго и замерзли. После окончания парада можно было вернуться в свои номера. Харвеи были очень довольны, оживленно обменивались впечатлениями, шутили.

Мистер Харвей рассказывал о своих впечатлениях, предвкушал, какие интересные снимки из России он сможет показать своим друзьям дома.

Чтобы согреться, заказали в номер бутылочку армянского коньяка, какуюто закуску. Включили телевизор. Было очень уютно и мирно.

Вскоре предстояла последняя встреча доктора Харвея со своей пациенткой, последние советы. Вечером наши гости собирались в Большой театр, а завтра — домой.

— Всем оставаться на своих местах!!! У нас есть сведения, что вы занимаетесь деятельностью, наносящей ущерб Советскому государству! Не двигаться!!! — услышали мы грубый окрик.

Через широко распахнувшиеся двери в номер влетело несколько мужчин. Их сопровождала женщина-администратор. Старший предъявил удостоверение КГБ на имя Евгения Михайловича Рассказова*.

Уже более спокойно он повторил:

— В связи с вашей антигосударственной деятельностью мы должны провести у вас обыск. Предъявите документы и оставайтесь на своих местах.

Ордера на обыск предъявлено не было. Я о такой необходимой формальности забыл, а Харвеи просто не знали, какие у нас правила. Подтверждались самые мрачные рассказы о порядках в Советской России, наверное, в этот момент они пожалели, что согласились на это путешествие.

Профессор пришел в себя раньше других и вежливо, но твердо потребовал, чтобы ему позволили связаться с посольством Соединенных Штатов.

В просьбе было решительно отказано.

Нас поставили лицом к стене, обыскали. Вытащили из карманов все личные вещи, внимательно их осмотрели. Затем начали тщательный обыск гостиничного номера и багажа наших гостей.

Придя в себя, я поинтересовался, что же они ищут. Рассказов не удостоил меня ответом.

Переворошили кровати, чемоданы, перерыли все шкафы, тщательно исследовали унитаз, перелистали принесенную мной книгу. Заинтересовались и телевизором, хотели его разобрать. Я это делать отказался, а сами они не решились, удовлетворившись внимательным исследованием содержимого через решетку в корпусе.

Решительности у незваных гостей поубавилось, а человек, шаривший в унитазе, зло бросил:

— Нет ничего. Опоздали. Успели передать.

Зазвонил телефон, это могли звонить по поводу билетов в Большой театр или мама, с которой Харвеи вскоре должны были встретиться.

— Не двигаться, трубку не снимать,— рявкнул Рассказов. Сам он тоже к телефону не подошел.

Тут ожил мой приятель:

— А это не то, что вы ищете? — Он показал на какую-то бумажку, торчавшую из замочной скважины в двери.

Рассказов свирепо посмотрел на него.

— Я же не знаю, что вы ищете. Хотел помочь,— оправдывался мой друг.

Наконец Рассказов соизволил ответить на мой вопрос.

— Этот человек — агент ЦРУ. Он занимается шпионской деятельностью,— многозначительно поведал он.

Самое интересное, что я поверил!.. Не до конца, но поверил...

Обыск закончился безрезультатно, если не считать отобранных у гостей фотопленок, которыми так дорожил доктор Харвей.

Наши «посетители» чувствовали себя уже просто неуютно, тон резко изменился.

Рассказов принес свои извинения. Сказал, что они только выполняли свой долг. Затем пригласил всех нас сесть к столу и начал что-то писать на бумаге.

Это оказалась короткая расписка, в которой говорилось, что мы такие-то и такие-то не имеем претензий к органам госбезопасности в связи с произведенным обыском.

Мы с Костей были ошеломлены случившимся, счастливы, что все «благополучно» кончается, и согласно кивнули. Вслед за нами неохотно согласились и американцы. Правил игры в этой стране они не знали.

Рассказов попросил меня переписать расписку своей рукой. Я механически подчинился. Все расписались. «Гости» удалились. Меня Рассказов потянул за собой в коридор.

— Вы понимаете, мы выполняли свой долг. Это опасные люди,— повторил он.

Я кивнул.

— Пленки, если на них ничего нет недозволенного, мы вернем им завтра утром проявленными, а вам я позвоню на днях.— Голос его стал тверже.— Прошу вас не приглашать их ни под каким видом к себе домой. До свидания.

Я вернулся в номер. Приятель мой торопливо попрощался и ушел. Подавленные, мы уселись вокруг стола. Не знаю, кто из нас был расстроен больше.

Я стал успокаивать Харвеев, плести, что-де у всех бывают ошибки. Службы должны выполнять свои задачи, но могут и ошибаться.

Видимо, мои слова звучали не очень убедительно. Да и вид оставлял желать лучшего.

Харвей, в свою очередь, стал успокаивать меня:

— Господин Хрущев, я проработал несколько лет в Перу. Видел там и не такое. Вы не переживайте. Я понимаю, вы не хотели бы огласки, ручаюсь вам, я не буду дома делать никаких сообщений для прессы.

Огласки я действительно не хотел и благодарно улыбнулся.

Постепенно мы успокоились, но Харвею не сиделось в номере.

— Мне противно прикасаться к этим вещам. Давайте уйдем отсюда. И ваша мать, и сестра... Ужасно, что им надо прийти сюда. Давайте перенесем встречу к вам на квартиру,— попросил он.

Я помнил прощальные слова Евгения Михайловича: «Ни под каким видом...» Нарушить их я не смел ни под каким видом, а потому промямлил:

— У меня там не прибрано, и мама собиралась приехать сюда. Давайте не менять планы.

Он все понял, грустно улыбнулся одними глазами.

До приезда мамы мы просидели молча. Каждый думал о своем.

Последние разговоры с мамой и Леной прошли скомканно, во всяком случае, мне так показалось. Мысли мои были заняты недавним происшествием.

О «гостях» мы не говорили. Не рассказывал я о визите и потом, не желая зря волновать близких, неприятностей и так хватало.

И отец, и мать, и сестра ушли из жизни, так и не узнав о происшедшем тогда.

Перед расставанием Харвей напомнил, что хорошо бы сделать в его лаборатории еще один анализ крови, и попросил переслать кровь с оказией.

Наутро мы с Витей провожали гостей.

Пленки, как и обещал Рассказов, Харвеям утром вернули проявленными, испортив только одну.

Хозяйственный и педантичный Витя тщательно запаковал самовары, чтобы они выдержали неблизкую дорогу.

Не тут-то было.

На таможне чемоданы Харвеев вывернули буквально наизнанку. Их начали трясти в общем зале, потом увели куда-то, наверное, для обыска. В старом Шереметьевском аэропорту всю процедуру досмотра было хорошо видно через решетчатую загородку, разделяющую зал.

Самовары нам вернули, сказав, что без сертификата Министерства культуры их не выпустят. Необходимо заключение о том, что они не представляют художественной ценности.

Издерганные и измученные Харвеи наконец вздохнули с облегчением и, помахав нам на прощание, отправились к самолету. Для них «русское приключение» кончилось. Теперь дома они смогут все это в красках рассказывать друзьям, сравнивая полицейские приемы в Южной Америке с российскими.

А у нас оставались еще не законченные дела. Надо было найти способ передать Харвею кровь на анализ. Сначала все казалось простым. В начале декабря в Вашингтон улетал Юлий Воронцов, бывший сокурсник Серго Микояна, а теперь заместитель Добрынина. Я с ним был в некоторой степени знаком. Воронцов охотно согласился выполнить мою просьбу. Тем более что он принимал участие в организации поездки Харвеев в Москву.

Неожиданно возникли осложнения. Жена Воронцова Фаина встревоженно и удивленно сказала мне буквально накануне отъезда:

— Небывалое дело! Нас специально собрали в МИДе и предупредили: ни у кого не брать передач в Штаты. Не знаю, что делать.

Правило, запрещающее перевозить посылки от третьих лиц, существовало всегда, но на него обычно смотрели сквозь пальцы. В чем дело, мне в отличие от Фаины стало понятно сразу —

* Фамилии изменены.

ведомство Рассказова ставило новый барьер. Имелись в виду не передачи от третьих лиц, а конкретно от меня, поскольку анализ крови мог быть только предлогом, а там... Мне удалось убедить Воронцовых. Термос с кровью был у них, и кровь попала по назначению.

Через несколько дней я созвонился с Харвеем. Он сказал, что ничего нового он не нашел. Результаты анализа он выслал мне по почте.

Больше наши пути не пересекались. Результатов анализов я, конечно, не получил. Видимо, они хранятся в моем досье.

В конце декабря я встретился с Евгением Михайловичем Рассказовым. Он еще раз предупредил меня, что и Стоун, и Харвей — матерые разведчики. Если я замечу что-либо подозрительное, то должен немедленно сообщить ему. Оставил он и свой телефон.

Версия, что хитрый Хрущев обманул всех, воспользовался болезнью Лены и доверчивостью окружающих с целью переправить мемуары за рубеж, долго еще имела хождение в определенных кругах.

Был пущен слух, его отголоски возникают и по сей день, что за свой визит в качестве гонорара Харвей запросил с отца мемуары. Тот согласился. Правда, опубликованные на Западе (и Востоке) книги содержат диктовки, относящиеся к периоду после отъезда Харвеев, но это обстоятельство оказалось возможным не принимать во внимание.

Ноябрьские происшествия доставили много неприятностей не только нам, но и тем, кто помог пригласить Харвея, и совсем посторонним людям.

Академика Гамкрелидзе перестали выпускать за рубеж, а Стоуна пускать в Союз. Только недавно эти рогатки были сняты, и я с удовольствием прочитал в прессе, что на приеме у Михаила Сергеевича Горбачева в числе других американских ученых был и доктор Стоун. Времена поменялись, и он перестал быть «матерым агентом ЦРУ».

До меня дошла информация, что пострадали ни в чем не повинные люди в нашем посольстве в Вашингтоне, содействовавшие оформлению въездных документов Харвеев.

Думаю, досталось и Андрею Андреевичу. Ведь это он санкционировал приглашение врача. Оправдаться перед ним мне не представилось возможности. И это меня очень огорчает.

Мои знакомые, в то время служившие в органах госбезопасности, были оттуда уволены, хотя ни о Стоуне, ни о Харвее они слыхом не слыхивали. Правда, их пристроили на неплохие места в другие ведомства.

Хочу принести всем этим людям мои запоздалые извинения.

Самовары по назначению так и не попали. Витя долго не мог получить сертификат, его мурыжили, гоняли из кабинета в кабинет. При очередной встрече с Рассказовым я упомянул вскользь об отправке в Америку самоваров и Витиной одиссее. Реакция его была для меня неожиданной, он весь посерел и зло бросил:

— И дались вам эти самовары! Что вы так рветесь их отправить своим американцам?

Стало ясно, что уверенность, будто это не простые самовары, сохраняется. В Америку им не попасть. Чего уж боялись наши опекуны, я не догадался. Может быть, они подозревали, что в них скрыты микропленки...

...В 1969 году мемуары стали осязаемы. Это уже были не отдельные листки или главы. У нас в руках была отредактированная мною рукопись объемом около 1000 машинописных страниц, охватывающая период от начала 30-х годов до смерти Сталина и ареста Берии. К ней примыкали описания отдельных эпизодов жизни отца: Кубинский кризис, XX съезд, Женевская встреча, размышления о Генеральном штабе, о военных мемуарах, о взаимоотношениях с Китаем и некоторые другие. Все это помещалось в нескольких папках.

Летом 1969 года отец прочитал эти материалы, сделал замечания. Далеко не все ему понравилось, особенно литературная сторона.

Я решил найти профессионального писателя, который взялся бы за литературную обработку.

Труд был большой, и далеко не каждый готов был на него согласиться. Да и отец был не той фигурой — работа с ним не могла принести в те времена моральных или материальных дивидендов.

Я дружил с известным сценаристом Вадимом Васильевичем Труниным и как-то рассказал ему о возникших трудностях. Он предложил взять на себя литературную обработку, заметив, что, хотя это огромный труд и такая работа оплачивается очень дорого, он сделает ее бесплатно. Выход был найден.

Я отдал Вадиму выправленный мною экземпляр. Прочитав его, он попросил исходные тексты. Я дал. Мою редакционную деятельность Вадим разгромил в пух и прах. Сказал, что все придется переделывать заново.

Мне было немного обидно, ведь я вложил в это дело столько сил и времени, но я понимал, что с профессионалом мне тягаться трудно.

Трунин приступил к работе. Я тоже не забросил свою деятельность и продолжал править поступающие от Лоры страницы.

Когда я рассказал отцу о своей договоренности с Труниным, он несколько обеспокоился:

— Ты уверен, что он не агент? Как бы все, что попало к нему в руки, не исчезло.

Я заверил, что знаю Вадима давно, он честный, проверенный человек, мой друг, с симпатией относится к отцу.

Отец успокоился, положившись на меня.

Замечу, что из нашей работы в те времена я не делал тайны, считая, что поскольку власти знают из подслушивания о диктовке, то нечего разводить конспирацию.

С Лорой, которая к тому времени поменяла работу, мы регулярно перезванивались, обсуждая по телефону все рабочие вопросы.

В новом, 1970 году в жизни отца практически ничего не изменилось, казалось, о нем забыли. Наряду с другими привычными занятиями он продолжал диктовать. Правда, здоровье его несколько ухудшилось: он заметно ослабел. Владимир Григорьевич Беззубик, регулярно осматривавший отца, предупредил нас, что у него развился сильный склероз.

— Так можно прожить еще много лет,— произнес он стандартную, успокаивающую фразу, за которой обычно следует грозное предупреждение,— а можно умереть в любой момент. Медицина тут бессильна.

Отец к болезням не прислушивался, старался не обращать внимания на недомогания.

С приходом весны отец приступил к весенним хлопотам. Он намеревался провести от дома вниз на луг водопровод, тем самым решив проблему полива огорода. Как и все свои дела, он начал эту работу увлеченно, отдался ей до конца. Целый день таскал трубы, обматывал их льном, мазал краской, свинчивал. Работа приносила ему радость. Шутил, как и прежде:

— Моя слесарная профессия пригодилась. Вы так не сумеете. И чему вас учили?

Мемуары с наступлением погожих дней были почти напрочь заброшены.

29 мая стояла июльская жара. Работалось тяжело, но пришла пора прополки и рыхления. Отец взял тяпку, пошел на огород, возился там до середины дня. Днем вернулся, обедать не стал, пожаловался, что плохо себя чувствует, болит сердце. Походил по дому, надеясь, что боль пройдет. Не прошло. Вызвали врача. Владимир Григорьевич констатировал тяжелейший инфаркт.

Продолжение следует.

РЕПЛИКА

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ...

Дмитрий Китаенко вернулся с зарубежных гастролей в родную филармонию. А поговаривали уже, что он сменил свой прославленный оркестр на не менее прославленный амстердамский и что теперь с ним «все в порядке». Однако Дмитрий Георгиевич поговаривавших удивил. Но, появившись в Москве, и сам испытал сокрушительное изумление.

Произошло нечто странное. В воскресенье, 6 мая, любители классики пришли в филармонию на День музыки Петра Ильича Чайковского, на дневной концерт в рамках юбилея великого композитора, играть на котором предстояло Академическому симфоническому оркестру филармонии во главе с Дмитрием Китаенко.

Знакомое фойе встретило слушателей гулким эхом. По родному овальному залу гулял ветерок. Захотелось крикнуть: «Ау-у-у!» И когда на сцену мужественно вышли участники первого отделения — молодые лауреаты международных конкурсов, лично меня охватило желание как-то увеличиться в размерах или размножиться в числе, чтобы занять эти жуткие пустые кресла.

Перед вторым отделением редкие зрители гадали — вот сейчас выйдут и скажут: идите по домам! Я даже не вполне поверила своим глазам, когда после третьего звонка оркестранты заняли свои места и на подиуме вырос Китаенко. С решительно-отчаянным видом дирижер обернулся к залу:

— Дорогие немногочисленные слушатели! Я хочу объяснить вам, что происходило у нас за кулисами. Мы решали, играть нам вообще этот концерт или не играть. Оркестр только что вернулся с триумфальных гастролей для того, чтобы в день юбилея национального гения не встретить на концерте ни одного представителя администрации филармонии. В зале, носящем имя Чайковского! Но мы решили, что сегодня его музыка должна прозвучать, несмотря ни на что. И я уверен, что здесь собрались истинные «люди Чайковского», настоящие друзья нашего оркестра. Спасибо вам всем!

И они играли. Для нас — почти пустого зала — да так, что слезы наворачивались на глаза

Впору было заплакать и от того, что довелось услышать после концерта — непосредственно от маэстро. Оказывается, уже очень давно был запланирован большой праздник Чайковского. С красочным оформлением, с участием самых замечательных музыкантов, с трансляцией концерта, идущего «марафоном», на площадь Маяковского и улицу Горького. И вот афиша появилась едва ли не накануне дневного концерта, в то время как всевозможные средства массовой информации взахлеб рассказывали о фестивале «Правды», о приезде Л. Паваротти, о бенефисах «звезд» эстрады и ни слова — о празднике в филармонии.

— По-моему, Московская филармония в лице дирекции просто похоронила Чайковского еще раз,— горько вздохнул Дмитрий Георгиевич.— Ну как, как не уезжать, скажите на милость? Вот устраиваем благотворительные концерты «Музыка. Милосердие. Мир». Да в этой филармонии знать не хотят ни милосердия, ни музыки!

Вечером в фойе уже не было так пусто. Но трудно было понять: концерт это или дипломатический прием? Разноязыкий гул, экзотические шелка, кимоно, тюрбаны, бриллианты, перья, сари... Родные московские лица попадались реже, чем, наверное, где-нибудь в Бруклине.

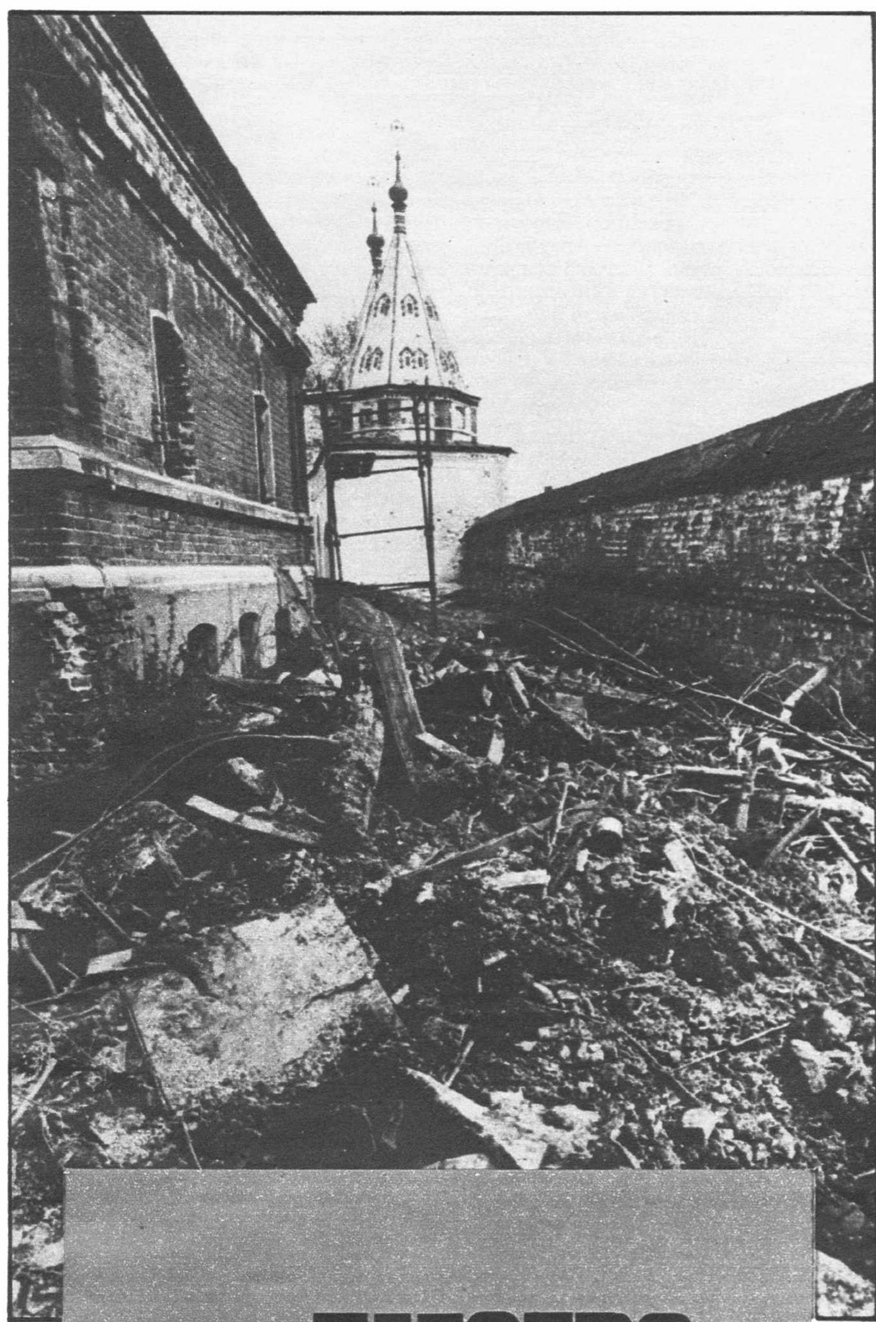
Выходит, им всем — немцам, эфиопам, американцам, японцам — нужен Чайковский, а нам нет? И выходит, что если бы здесь не собрались послы и консулы со всего света, то зал опять был бы полупустым?

Как-то неловко было читать и слушать в последующие дни парадные отчеты о юбилее гения русской музыки, о торжественном вечере в Большом театре, о всенародной любви... Неужели ее хватает только на один концерт в Большом?

Директор филармонии вежливо развел руками: «Ну что я вам могу сказать... Конечно, это возмутительно. И я должен признать нашу недоработку. Мы это дело обсудили на директорате, и, кроме того, как согласиться с тем, что все это очень печально и мы очень сожалеем,— больше ничего сказать не могу...»

Пытался извиняться директор и перед Китаенко: верите ли, филармония купила корзину цветов, но ее, к сожалению, забыли поставить на сцену! Как заметил потом Дмитрий Георгиевич, именно этой корзины и не хватало на сцене, чтобы окончательно превратить ее в надгробную плиту. Впрочем, корзины ли, портреты, право, ничего не убавят и не прибавят к имени Петра Ильича Чайковского. Уж он-то — останется. А вот останемся ли без него мы?

Е. СОКОЛОВА



БЕГСТВО ...ЗА ВЛАСТЬЮ

Рядом с музейным чудом, каким привыкли мы воспринимать Суздаль, происходит разрушение не только исторических памятников, но и замшелых идеологических догм.

Владимир ГЛОТОВ, обозреватель «Огонька»
Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА

Комментарий к одному письму

Напомню читателю для понимания дальнейшего сюжета, что лет двадцать пять назад, в ту пору, когда Андрей Тарковский снимал во Владимире и Суздале своего «Андрея Рублева» и по окрестным холмам горели костры и проносились конники с искаженными лицами, по кельям монастырей, пребывавших в запустении, бродила очаровательная молодая женщина по имени Алиса.

Алиса была директором музея.

С тех пор я ее не видел. И вот в этом году, рассказывая в «Огоньке» о судьбе фресок Рублева и отношении к ним молодого Тарковского, чьи размышления я обнаружил в своих давних записках, я упомянул — ну как пройти мимо такого чудного имени: Алиса! — ту мимолетную встречу с молодой директрисой. Упомянул, да забыл.

Где она? Что с ней? За четверть века страну перетряхнуло не раз, а человек — песчинка, социальный атом. Бросало Тарковского, всех нас перекручивало, исключение ли она? Тем более музейная стезя для молодой, повторяю, симпатичной женщины. Да на кой он ей ляд, этот музей, с его нищетой и «остаточным принципом»?

Вот тут и ошарашило ее письмо. Отклик в огоньковской почте.

Подпись: «Алиса Аксенова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника».

Но еще более, нежели авторство, заинтересовало содержание письма. Судя по всему, под древними стенами Руси продолжались ожесточенные битвы с «сарацинами».

* * *

«За долгие годы своей работы в музее,— писала А. Аксенова,— я не меньше сотни раз слышала каламбур: «Алиса в стране чудес». А «страна чудес» — это 70 памятников, которые надо отапливать, охранять, ежегодно ремонтировать. Это нищенская зарплата сотрудников, а их 570 человек. Это скудное финансирование. Борьба с запретительными инструкциями, с меняющимися начальниками, бесконечными грозными, изнурительными ревизиями. Зарабатывать два миллиона в год и не воровать, так не бывает!

Вот эти два миллиона, которые мы последние годы зарабатываем, и спасают нашу «страну чудес».

Дошли мы в молодости интуитивно до очень простых, а оказалось, толковых решений — взять в свои руки все экскурсионное обслуживание (в других музеях экскурсии водят и «Интурист», и профсоюзное бюро экскурсий, и т. д.) — пошли деньги. Правда, это очень хлопотно — держать в «форме» 400 экскурсоводов, проводить свыше 30 тысяч экскурсий в год, а на полученные деньги открывать новые музеи в пустующих памятниках, выпускать сувениры. Морока с фондами бумаги, выбиванием лимитов в типографии.

Зато ухоженные памятники, современные музеи, которые не стыдно показать кому угодно. Повысили зарплату: она уже выше той, что обещана в Нечерноземье в 1993 году.

В наше неспокойное и некомфортное время мы достигли определенной стабильности и благополучия в экономическом отношении (пока что среди музеев это единственный опыт в стране), заслужили авторитет и у нас, и за рубежом — на демократической основе меня второй раз избрали вице-президентом комитета региональных музеев при Международном совете при ЮНЕСКО.

А все начиналось тридцать лет тому назад, страшно вспомнить, с шести промерзших залов в суздальских архиерейских палатах с печкой-буржуйкой, с маленького музея во Владимире, построенного на средства любителей старины в начале века. Шаг за шагом, по кирпичику, на это ушла жизнь.

И вот вдруг в Суздале новый первый секретарь райкома партии — Г. М. Михайлов (за время моей работы — шестой) — пришел, огляделся (со мной ни разу не встретился!) и решил: в музее много денег, их надо пустить в дело, а чтобы их забрать — отделить суздальский музей от владимирского и создать в Суздале хозрасчетный комплекс: музей, гостиницы, рестораны, реставрационная мастерская, бюро экскурсий и путешествий, присоединить еще два отсталых совхоза, поднять их, чтобы они потом кормили туристов.

Современно? Да, в духе коренных экономических преобразований, как он сам считает.

Затем, как водится, районная партийная конференция дружно проголосовала за идею энергичного секретаря.

Второй год нам мешают работать. Местная газета буквально натравливает население на музей. Странная позиция и у обкома КПСС: с нашими доводами на словах все соглашаются, осуждают Михайлова, но не мешают ему, не останавливают.

И вот настоящая схватка коллектива с административным произволом районного партийного начальства, при молчании областного. Я бы сказала: нового со старым, если бы не парадокс — я-то работаю 30 лет, а секретарь два года, да и по возрасту довольно молодой.

Я буквально в отчаянии от бессилия и беспомощности, от невозможности уступить и тем самым развалить дело, на которое угроблена жизнь, от того, что нечего сказать товарищам по работе на фоне громких фраз о безоговорочном осуждении административно-командного стиля.

Пытаюсь взглянуть на этот конфликт шире. Вот некоторые мысли. Теперь не стесняются говорить, что культура всегда финансировалась по остаточному принципу. Беднота на местах сложившаяся, устойчивая. Ждать пока нечего. Постановление правительства о повышении зарплаты работникам культуры до нас, как я уже писала, дойдет только в 1993 году. А что сулит? Старший научный сотрудник музея будет получать 170 рублей, а сейчас, после повышения зарплаты в партийных органах, там машинистка получает 180, а рядовой инструктор райкома — 320—350.

Так что путь, которым пошел наш музей-заповедник — зарабатывать самим,— верный. Но существует еще в определенных кругах этакое высокомерное отношение к этой проблеме: как можно на культуре зарабатывать! Вы даже не представляете, как я натерпелась от этих салонных упреков. «Критики» не могут понять, что ничтожная входная плата в советские музеи (20—40 копеек) — чисто символическая, а складывается она в тот кислород, без которого музеи не проживут и который Минкульт дать не может. Кстати, за рубежом эта входная плата весьма солидная. Во Франции — от 20 до 30 франков, в США — от 3 до 10 долларов. Наш музей-заповедник от этой 20—40-копеечной платы получает в год 1 миллион 200 тысяч. На это и живем. Плюс продажа сувениров. Из бюджета мы получаем 400 тысяч.

Эти «заработанные на культуре» деньги идут на воспроизведение самой культуры, на сохранение все истончающегося слоя работающих там специалистов (каким энтузиастом ни будь, а на 90—110 рублей не проживешь).

Теперь сквозь призму этих цифр взгляните на конфликт с райкомом. Должны ли деньги, заработанные вот так музеем, который содержит 40 памятников на 22 гектарах Суздаля, тратиться еще и на отсталые совхозы?

Во всем мире музеи лишь привлекают туристов, а уж приехавшие туристы оставляют деньги в гостиницах, ресторанах, на увеселительных мероприятиях и развлечениях, в магазинах. Причем за это, за **привлечение**, музеям даже отчисляют деньги те, кто их таким образом заработал.

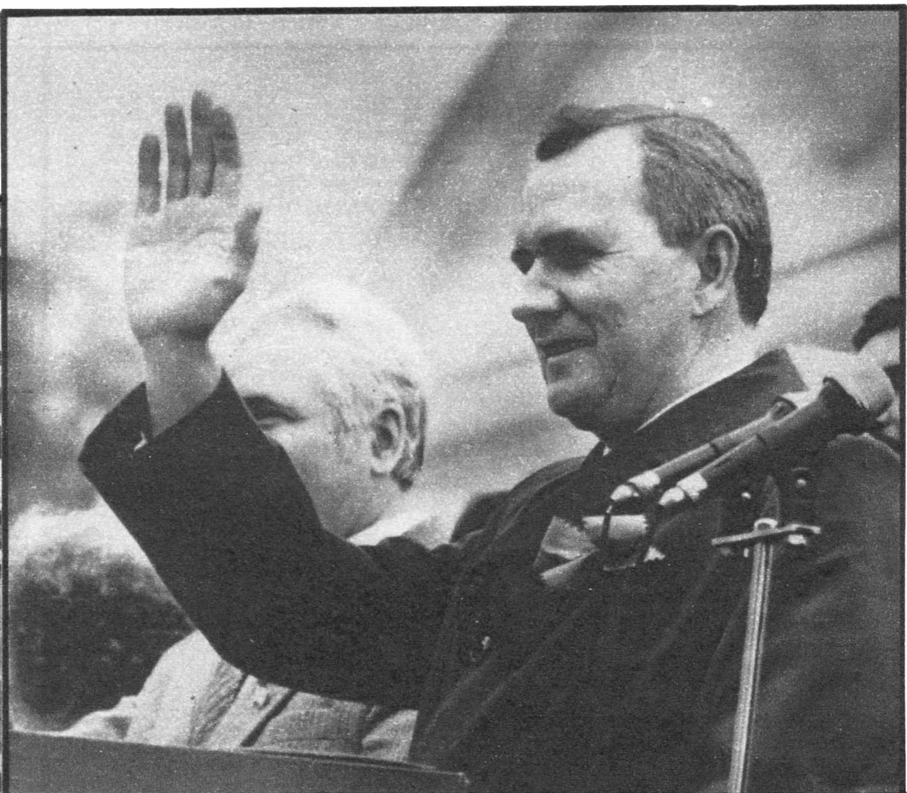
Прошлым летом я была в США в «американском Суздале», как шутя называют американцы город-музей Вильямсбург в штате Вирджиния, восстановленный на средства Рокфеллера и воссоздающий обстановку XVIII века.

Вот как обрисовал мне экономическую базу музеев Вильямсбурга генеральный директор-президент г-н Лонгсворт.

Доходы музеев города в год — 40 миллионов долларов. Из них:

20 миллионов — входная плата. 21 доллар — на все музеи (у нас — 20—40 копеек в каждый: не более двух рублей оставит турист за день).







6 миллионов — процент от вложения капитала, хранящегося в банке, лежит 150 миллионов (у нас наказывали за неизрасходованные средства, сейчас критикуют, естественно, процента нет).

4 миллиона — отчисления от прибылей гостиниц.

4 миллиона — отчисления от прибылей ресторанов (у нас за «Трапезную палату» в суздальском кремле ресторан в год платит пять тысяч).

2 миллиона — отчисления от производства сувениров и увеселительных развлечений.

2 миллиона — отчисления магазинов, расположенных на территории старого Вильямсбурга.

2 миллиона — пожертвования. У Вильямсбурга 40 тысяч пожертвователей, передающих от десяти долларов до десятков тысяч, кто сколько может.

Эту идею — то, что музей привлекает, а основные деньги турист оставляет не в музее,— никак не вобьешь в иные головы.

Вот данные о расходах туриста в Суздале: гостиница — 4—5 рублей в сутки; питание — 3,5—5 рублей; расходы на экскурсионное обслуживание по памятникам и музеям — 1 рубль 50 копеек.

Это при ужасающей скудности развлечений (катание на лошади за один рубль, а больше ничего нет).

И при этом упреки в адрес музея: «Гребете деньги!» И равнодушные слова из уст местного начальства: «Это ваши туристы. Это вам надо».

Раздражение, злоба, зависть. И, наконец, попытка взять готовое и «пустить в дело». Вот суть конфликта.

Оглядываясь на всю свою жизнь в музее, с горечью подвожу итоги: сделано много, но половина сил уходила на борьбу, на оборону, самозащиту».

* * *

Грустное письмо. Свидетельствующее о том, что милое наше Отечество пребывает все в том же состоянии бесправия, партийного нажима и бессмысленной растраты народных сил властью «районных князей».

Интеллигентного вида женщины кипели митинговой страстью, когда мы разговаривали с ними под сводами музейных помещений. Грубоватые, обветренные хозяйственники, приправляя крепким словцом свои доводы, посылали суздальского секретаря в голубую даль, когда мы в поле, у межи, обсуждали ситуацию с партийной властью.

И смысл был один: устали, надоело, сколько можно терпеть.

И все равно терпели, выполняли правила игры.

В чем их суть?

Посреди Суздаля и его церквей стоит низкорослое здание, покрашенное в красный цвет. В одном его крыле — том, что почище, поухоженней и с фасада и с задворков,— райком КПСС. Город, если не брать территорию, занимаемую музеем, не ухожен: дороги разбиты, за крепостными стенами монастырей спрятанные от глаз свалки. Перекусить негде. Выпить стакан воды — проблема. Дети занимаются спортом в подвале старинной постройки — как раз у входа в райком — иного места не нашлось. Не колокольня парит над всем городом — она мираж,— а вот это низкорослое, властное здание, откуда тянутся нити директивного управления, кадровых назначений, идеологических установок, финансовых щедрот и ограничений.

Кто хозяин в Суздале и районе? Не будем наивными — секретарь райкома.

Так было десятилетиями. Чего же иного можно было ожидать от Геннадия Михайлова, крестьянского сына, отец которого был директором совхоза, и сам он, чуть закончил институт, стал тоже директором совхоза, потом секретарем райкома, меняя посты по воле партии,— чего ожидать от вскормленного питательным молоком самой партии профессионального руководителя классического командного стиля?

Хотя ему лет сорок. Не замшелый бюрократ, полон сил, на него любуешься, когда, затянутый в кожу пальто, он идет по вечернему Суздалю. Хозяин. Волевое лицо, умеющий сурово зазвучать голос, властные жесты и при этом простота, хорошая русская улыбка, сохраняющая, однако, стальной блеск глаз.

Поглядел этот крестьянский сын на район, на город, обнаружил отлично функционирующий музейный комплекс — дальше дело техники.

Так появилась идея отделения суздальского филиала от единого организма музея, превращения его в самостоятельное хозяйственное предприятие (а может, и правда в консорциум по выращиванию бычков и изучению русской иконы?) с подчинением кому? Правильно, райкому.

Абзац в докладе на районной партийной конференции — вот уже и «мнение коммунистов района». Пленум за пленумом — и все в одну точку: отделить Суздаль.

Обоснование, как водится, абстрактное: «...невозможно определить рентабельность туризма, его узкие места и резервы». (А зачем это райкому?)

Прямое указание в адрес Советской власти: «Мы считаем (каково звучит, а?), что облисполкому целесообразно поддержать предложение... Пока же областные организации пр-родолжают пор-рочную пр-рактику р-реорганизации предприятий города в свои филиалы».

А дальше пошли служебные письма: «...рассмотреть данные предложения и проинформировать райком».

Музейные работники, за чьей спиной все это происходило, собрали собрание и деликатно, но недвусмысленно сказали секретарю: нас бы спросили, мы не хотим отделяться, нам и так хорошо, оставьте нас в покое. И в ответ на страницах местной газеты (кстати, орган райкома с выразительным названием «Суздальская новь») разворачивается могучая кампания с привлечением «общественности». И приговор: отделяться, чего там!

Как водится, угодники перегнули палку: обидели, оскорбили коллектив музея, заодно и Алису Аксенову. Пришлось публиковать в той же газете решение суда (!), приносить извинения «за умаление чести и достоинства». Ничего не поделаешь, новые времена.

Я пришел к Михайлову, поднялся к нему в кабинет, положил на стол магнитофон, сказал: «Поговорим?»

Он заупрямился: «Уберите эту штуку».

Тогда я спросил, убрав «штуку»: какие все-таки доводы в пользу «отделения»? Может, есть расчеты? Аксенова



зарабатывает два миллиона. Миллион уходит Суздалю. «А вы сможете больше — четыре?»

Расчетов не было. Было сомнение соседа, смотрящего в дверь чужой семьи: а вдруг суздальскому филиалу досталось меньше? Были слова про «региональный хозрасчет» и какой-то мифический «консорциум». Экономическая маниловщина, вроде планов отреставрировать знаменитую суздальскую колоколенку и водить на нее за полтинник любопытных, обозревать окрестности. Я подумал: на этот счет уже есть печальный опыт застывшего на мертвом якоре «чертова колеса», достопримечательности времен застоя.

Поискал я, что пишут и говорят по поводу регионального хозрасчета. Именно на него напирал Михайлов, с трудом, как мне показалось, скрывая истинный интерес: платят тому, кто заказывает музыку. Ему хотелось «заказывать».

«Региональный хозрасчет — это, по-моему, фантасмагория... А суть в том, что большинство ратующих за региональный хозрасчет вкладывает в это понятие прежде всего политический смысл». Это, надо понять, власть.

Таково мнение члена Президентского совета академика Станислава Шаталина. Свой след он оставил в «Известиях». Михайлов же не стал оставлять следов на магнитофонной пленке. Он политик с обратной стороны Луны, всегда в тени.

Мы расстались. Но я вернулся через месяц. «Ладно,— сказал я,— поговорим без следов».

Без следов получилось так.

«Я вообще к публикациям суздальской газеты отношения не имею»,— сказал секретарь, подразумевая травлю Алисы, бесконечные восторги по поводу него самого (это в период предвыборной кампании).

Точность — привилегия королей, а искренность — первых секретарей? Хотелось бы в это верить. Однако адвоката для ведения дел в ходе судебного разбирательства — защищать амбиции газеты — подбирал лично второй секретарь РК КПСС А. Е. Илларионов. И выбрал самого популярного.

Но это так, к слову. Продолжу разговор с Михайловым.

«Если у вас,— сказал он,— в «Огоньке» кто-то вас контролирует, то у нас свободно, я из газеты узнаю, что она печатает. А идея разъединения музея не моя, сформулирована на конференции. Это коммунисты!»

Допили мы чай из стаканов в суровых подстаканниках, пожелали друг другу удачи. О чем говорить, когда и так ясно?

Посмотрел я на этого самоуверенного, но как бы расстроенного ходом истории человека, вспомнил, как он объезжал деревни, встречаясь в обшарпанных клубах, бывших культовых помещениях, со старухами и стариками, обещал им почистить колодцы, оборванную с прошлой осени телефонную линию починить. Шли безальтернативные выборы. Бия себя в грудь, крестьянский сын исповедовался перед людьми, рассказывая им, как мать наказывала ему: «Ты, Генка, народ не обижай!» И он его, этот завет, всю жизнь блюдет. Вот и Михаил Сергеевич на встрече в Кремле — об этом упоминает и старушкам, и мне, журналисту,— почти то же сказал: смотри, мол, Генка, не забывай народ.

Чудовищное впечатление. Не глупый вроде бы человек. И действительно, вышел из народа. И такая ярая страсть вести других вперед, все вперед и вперед. Ломая хребты и разрывая губы удилами.

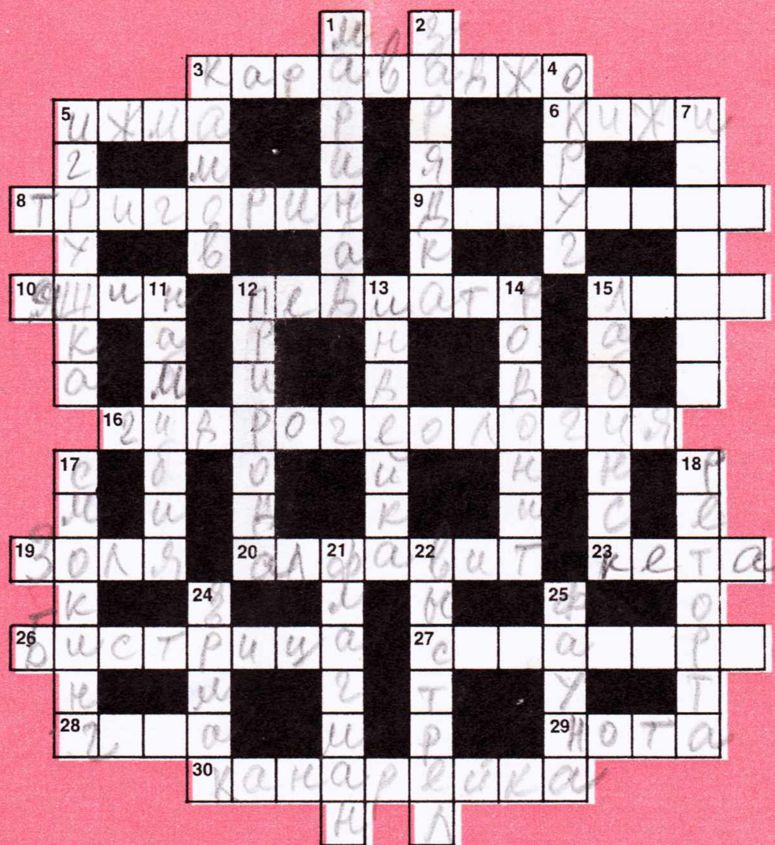
В последние месяцы, ознаменованные гибелью «шестой статьи», секретарь собрал в спешном порядке бюро райкома, которое без тени сомнения рекомендовало коммунистам-депутатам в порядке партийной дисциплины избрать его, Михайлова, председателем райсовета народных депутатов. Там теперь власть! Там заказывают музыку.

Депутаты понуро покивали головами, покурили в перерыве, но — мудрые мужики — не пошли против совести, проголосовали «против».

И хотя владимиро-суздальская земля не бурлит еще от сходок неформалов и над городом владимирских князей монументально высится, состязаясь в претензиях на величие с самим Успенским собором, белокаменное здание обкома, хотя сдержанные суздальские председатели колхозов, директора совхозов, средние и малые хозяйственники не столь эрудированны, как столичные воротилы бизнеса, а лишь мнут в огрубелых пальцах сигарету, улыбаются — иные и в усы — и не спешат рушить в словесных эскападах партийно-государственные устои; хотя местная интеллигенция, как тонкий и слабый тростник, подрагивает на ветру, волнуется и трепещет, а железные батальоны крутых мужиков в любую минуту еще готовы разметать проявления свободомыслия и свободоволия,— хотя все это так и северо-восточная Русь не Кавказ, не Прибалтика, не Волгоград, где фундамент под знаменитой лестницей, ведущей к берегу Волги, прогибался под тяжестью тысяч поднявшихся с колен людей,— все равно я ощутил перемены и на этой древней земле Юрия Долгорукого, где в Кидекше стоит рядом с церковью колоколенка, покосившаяся вроде башни в Пизе, но ведь стоит, не упала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Итальянский живописец XVI—XVII веков. 5. Приток Печоры. 6. Остров на Онежском озере, музей-заповедник. 8. Действующее лицо в пьесе А. П. Чехова «Чайка». 9. Русский естествоиспытатель, создавший учение о географических зонах. 10. Футболист, Герой Социалистического Труда. 12. Врач, специалист по детским болезням. 15. Басня И. А. Крылова. 16. Наука о подземных водах. 19. Французский писатель, автор серии романов «Ругон-Маккары». 20. Азбука. 23. Лососевая рыба. 26. Река в Румынии. 27. Грузинская разновидность флейты. 28. Португальский мореплаватель, проложивший морской путь из Европы в Южную Азию. 29. Дипломатический документ. 30. Певчая птичка с желтым оперением.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соус из уксуса, пряностей и масла. 2. Комплекс физических упражнений с гигиеническими целями. 3. Авиаконструктор, Герой Социалистического Труда. 4. Административно-территориальная единица в ряде стран. 5. Вещь для детской забавы, развлечения. 7. Горный массив на Южном Урале. 11. Государство в Южной Африке. 12. Окружающий нас материальный мир. 13. Самая крупная домашняя птица. 14. Минерал розового цвета, поделочный камень. 15. Город в Краснодарском крае. 17. Черный пиджак, вечерняя мужская одежда. 18. Лабораторный сосуд. 21. Командующий соединением военных кораблей. 22. Повесть А. С. Пушкина. 24. Город в Павлодарской области. 25. Животный мир.



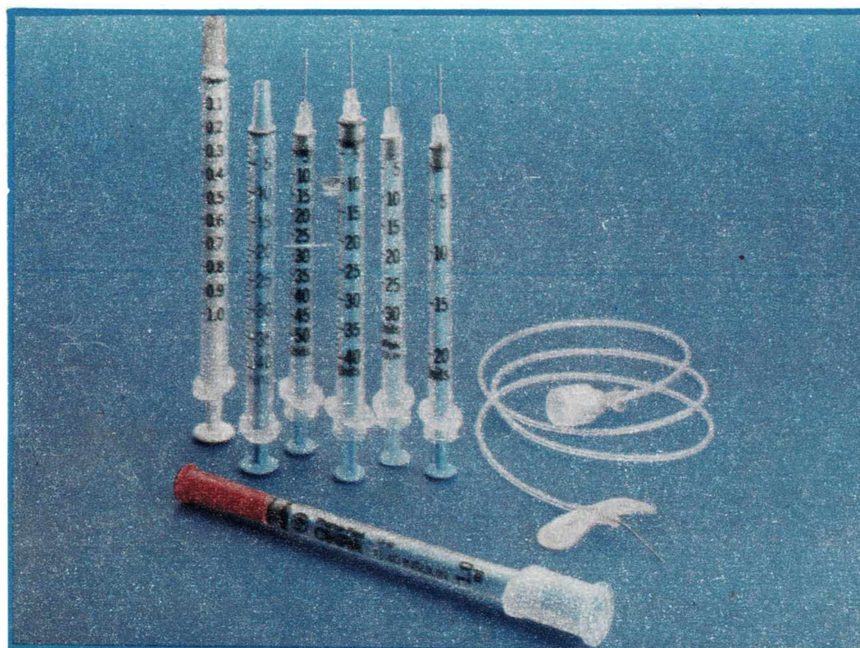
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 22

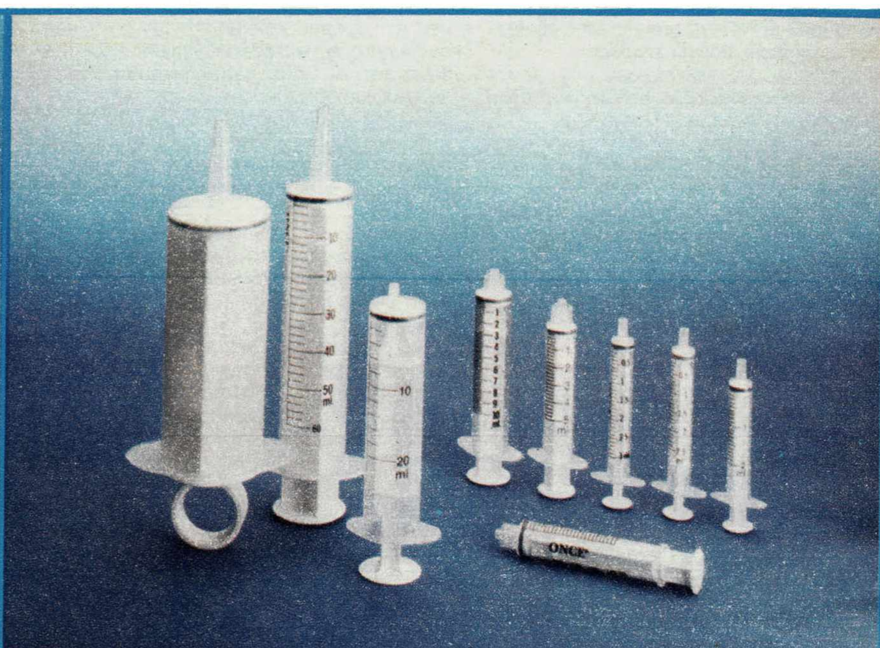
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Карпинский. 6. Тест. 7. Габрово. 9. Инициал. 11. Лампас. 14. Баглан. 16. Платан. 18. Юпитер. 19. «Крокодил». 20. Маврикий. 21. Лысуха. 22. Ампула. 23. Валюта. 26. Ковпак. 29. Паллада. 30. Листрат. 31. Гага. 32. Карикатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барток. 2. Миссия. 4. Патока. 5. Сатира. 8. Аппликатура. 10. Аранжировка. 12. Афоризм. 13. Сардина. 14. Брюллов. 15. Нармада. 16. Плавник. 17. Аксиома. 24. Арагви. 25. Талант. 27. Шафран. 28. Эскорт.



Pharma-Plast









«Фарма-Пласт» — одна из ведущих в Европе и крупнейшая в Дании фирма, производящая стерильную одноразовую продукцию для здравоохранения.

«Фарма-Пласт» вносит большой вклад в исследования, касающиеся проблем окружающей среды, которые успешно решаются в Дании.

Производство товаров, жизненно необходимых для пациентов, должно отвечать требованиям высокого качества. Вот почему «Фарма-Пласт» уделяет такое большое внимание качеству выпускаемых изделий. На всех стадиях производства все виды продукции тестируются, и готовая продукция также проходит строгий контроль.

Основные виды продукции:
— обычные шприцы
— инсулиновые шприцы
— катетеры
— дренажные аппараты

«Фарма-Пласт» представляла свою продукцию на выставке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-90» в Москве 22—31 мая 1990 г.

Pharma-Plast is one of the leading European — and Denmarks largest — manufacturer of sterile, single-use health care products.

Pharma-Plast contributes to and benefits from the advanced research environment Denmark is known for. Thus resulting in patient — and user-friendly products.

Manufacturing products which use is of vital importance to the patients sets high quality requirements. Hence Pharma-Plast is dedicated to quality. In all production processes intensive in-line testing is performed, followed by extensive after controls.

The main product lines are:
— Hypodermic Syringes
— Insulin Syringes
— Catheters
— Drainage products

Pharma-Plast exhibited its products at the SDRAVOOCHRANENIE 90 exhibition in Moscow May 22 — May 31, 1990.

Pharma-Plast



Pharma-Plast A/S 30, Kirke Værløsevej 3500 Værløse Denmark
Phone int. +45 42 48 18 33 · Telefax +45 42 48 44 73 Telex 37258 pharma dk

40 коп. Индекс 70663